

Степан Бурлаков



Тайны древних СВИТКОВ

18+

Степан Бурлаков

Тайны древних свитков

«Автор»

2026

Бурлаков С. А.

Тайны древних свитков / С. А. Бурлаков — «Автор», 2026

Он не помнит прошлого. Только имя — Ратик — и эхо детского крика. Сирота из жестокого приюта Рифтена, беглец, нашедший семью в таверне «Вайлмир» у воина Вилхельма. Но Скайрим не терпит покоя. Древний клан вампиров Волкихар идёт по следу Древних Свитков — артефактов, способных погрузить мир в вечную ночь. Чтобы остановить их, Ратику предстоит пройти путь от изгоя до Стража Рассвета. Его ждут смертельные схватки, путешествия по опаснейшим землям Скайрима, верные друзья и тяжёлые потери. И главное — разгадка тайны собственного прошлого, которая может оказаться страшнее любой нежити. История о поиске себя, о силе духа и о том, что даже у потерянного есть шанс обрести дом и стать частью легенды.

© Бурлаков С. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Степан Бурлаков

Тайны древних свитков

Пролог

Часть 1: Деревня у подножия Глотки Мира.

Айварстед не просыпался. Он вытекал из ночной тьмы медленно и неспешно, подобно янтарной смоле, что сочится из надреза на сосновой коре, подчиняясь не столько торопливому солнцу, сколько суровому, неумолимому ритму величайшей вершины Скайрима, да не только всего Скайрима, а даже всего Тамриэля — Глотки Мира. Первым всегда являлся свет, неяркий, размытый, рождённый где-то в ледяных шапках, венчающих вершину, он стекал вниз по каменным ложбинам, словно жидкий, тягучий мёд, разливаясь по склонам. Он озарял сперва острый шпиль гробницы Гейрмунда, что возвышалась на острове посреди озера Гейр, превращая его в призрачный маяк — маяк, который, казалось, светил не для живых, а для душ ушедших, потерявших дорогу к вечному покою. Затем свет касался черепичных кровель мельницы и лесопилки, где огромное колесо, почерневшее от влаги и времени, начинало свой дневной труд сонным, протяжным поскрипыванием. И лишь в самую последнюю очередь, нехотя, пробивался свет сквозь вечную дымку, окутывающую подножие, чтобы осветить главный тракт и каменные стены таверны «Вайлмир», что стояла на пригорке, подобно старому, битому жизнью стражу.

Деревня жила в непрестанном диалоге с исполином, у подножия которого она ютилась. С одной стороны её ласково омывали холодные, прозрачные воды озера Гейр, в которое на востоке впадала река Трева. В кристально чистой глади озера величайшая гора — Глотка Мира, отражалась в перевёрнутом виде — ещё более недоступная и величественная. Отражение сие было столь совершенным, что порой, на закате, когда мир утрачивал свои краски и тонул в багрянце, казалось, будто небо и земля менялись местами, и где-то в бездонной водной глубине лежало иное, незримое небо, по которому плыли рыбы-звёзды, сверкая серебряной чешуёй в вечных сумерках.

С запада же бушевала Чёрная река, рождённая из озёрных глубин и набиравшая свою неистовую силу из ледяных слёз, стекающих с горных ледников. Она вырывалась из озера бурными, пенными порогами прямо за домами, и её непрестанный, всепоглощающий рёв был неизменным фоном всей жизни Айварстеда — белым шумом, который перестаёшь замечать, но в тишине которого начинаешь сходить с ума. Рёв этот был не просто звуком, он был осязаем, как дыхание самой земли; он был вибрацией, что чувствовали подошвами ног все жители, а старожилы шептались, что без этого гула ночи в Айварстеде были бы слишком тихими, слишком пустынными, и тогда каждый услышал бы, о чём на самом деле шепчет Глотка Мира.

Природа здесь являла собой наглядную летопись жестокой борьбы за существование. У самой воды, где пар от горячих ключей смешивался с озерной прохладой, рождался странный, густой туман, в котором каждый предмет казался призраком, буйствовали заросли папоротника и колючего шиповника, а воздух был пропитан запахом серы. Этот запах, резкий и металлический, смешивался с ароматами влажной земли и гниющей листвы, создавая неповторимый букет, который для местных жителей был запахом дома, а для путников — первым знаком того, что они вступили в край, где природа не ведаёт пощады. Гигантские папоротники, в рост человека, сворачивали свои листья в тугие улитки, которые к полудню раскручивались, выбрасывая в сырой воздух споры, похожие на золотистую пыльцу. В этих зарослях, где вечно царил полумрак, находили убежище мелкие зверьки и непуганые птицы, но никто из местных не осмеливался заходить туда слишком глубоко — поговаривали, что в самом сердце папоротни-

ковой рощи таятся спригганы, загадочные защитники растений из ветвей и изящной женской фигурой, затягивающие вглубь всё, что ступит на их территорию.

Шиповник цеплялся за камни своими кривыми, усеянными шипами ветвями, а его ягоды, налитые алой кровью осени, даже в лютую зиму бросали вызов голодным птицам и мелкому зверью. Ягоды эти, кислые и терпкие, были не просто лакомством — они стали символом стойкости, доказательством того, что даже в суровом климате жизнь не сдаётся без боя. Местные жители варили из них варенье, которое добавляли в горячие настойки, чтобы согреться в самую лютую стужу, и говорили, что глоток такого отвара способен прогнать не только простуду, но и дурные мысли. На склонах, обращённых к солнцу, цепко держались сосны и ели. Их корни, подобно щупальцам, впивались в трещины скал, выискивая крупницы земли и влаги. Сосны здесь были низкорослыми, с искривлёнными стволами и плотной, сизо-зелёной хвоей, которая источала смолистый, терпкий аромат, смешивавшийся с горьковатым запахом можжевельника, что кустился между ними. Стволы сосен покрыты наростами и трещинами, и казалось, что каждое из этих деревьев — старый воин, за плечами которого не одна сотня зимних бурь, и который выжил лишь благодаря упрямству и нежеланию сдаваться.

Ели, напротив, тянулись ввысь, острыми пиками пронзая облака, и их нижние ветви, лишённые света, свисали вниз сухими, мёртвыми лапами, шелестящими на ветру. Эти сухие ветви создавали звук, похожий на шёпот, и в тихие вечера, когда ветер стихал, казалось, что лес переговаривается сам с собой, рассказывая древние, забытые истории. Под сенью этих великанов царил вечный полумрак, и даже в полдень солнечные лучи пробивались сюда лишь редкими, полосатыми лучами, что падали на землю, покрытую толстым ковром из опавшей хвои и мхов. Здесь, в этом прохладном царстве, водились не только зайцы и белки, но и более опасные твари — лесные тролли, которых местные охотники боялись больше, чем медведей, ибо твари эти были не только сильны, но и коварны, и умели затаиваться среди корней, поджидая неосторожного путника.

Выше, где начинался путь к Высокому Хротгару по семи тысячам ступеней, царствовали лишайники — ядовито-жёлтые, пепельно-серые, кроваво-красные — и упрямые, стелющиеся кусты каменной голубики. Лишайники покрывали камни причудливым узором, и казалось, что сама гора дышит через них, выплетая выжженными узорами. Некоторые из этих лишайников были настолько старыми, что их возраст исчислялся не десятилетиями, а столетиями, и они росли на скалах, которые помнили ещё Первую эру, когда на этих землях не было ни людей, ни эльфов, лишь великаны, драконы и древние существа, о которых теперь слагали лишь легенды. Каменная голубика, прижатая к поверхности ледяными ветрами, давала мелкие, но удивительно сладкие ягоды, которые местные жители собирали для настоек. Её листья, жёсткие и кожистые, сверкали в лучах заходящего солнца, словно покрытые лаком. А ещё выше была лишь скала, лёд и вечный ветер, высекающий из камня странные, похожие на древние руны, узоры. Трещины в скалах напоминали письма, а иней, оседающий по ночам, превращал эти природные знаки в мерцающие серебряные строки, которые никто не мог прочесть.

Фауна Айварстеда тоже была сурова и разнообразна. В камышах у озера копошились ондатры — шустрые, коричневые зверьки с блестящей шкуркой, которые точили зубы о кочки и строили хатки из тины и травы. За ними вечно охотились лисы и ястребы, и сражения за жизнь разыгрывались здесь с рассвета до заката. В воде сверкали серебряными боками стаи сигов и хариусов, выпрыгивающих за мошкой, особенно в сумеречные часы, когда поверхность озера превращалась в кипящую, живую поверхность, где каждая волна рождала новую вспышку. На лугах, где скот выщипывал молодую траву, бродили стаи рябчиков и тетеревов, чьё пение было столь же неотъемлемой частью местного пейзажа, как и рёв реки. А в небе, высматривая добычу, парили ястребы-тетеревятники и чёрные вороны, чей зловещий грай напоминал о близости гор, где прячутся не только птицы.

Вороны здесь были особенно почитаемы и одновременно ненавидимы. Их считали вестниками — не только смерти, но и перемен. Говорили, что если ворон садится на крышу дома и не улетает три дня, то жди скорой кончины или важного события, которое изменит судьбу всей семьи. В лесу, на границе с высокогорьем, можно было встретить следы оленей, лосей, а иногда и грязно-рыжую шкуру лесного тролля — зловонного, тупого, но смертоносного создания. Тролли эти не были просто зверями; они были порождением самого леса, его живой, дышащей жестокостью. Их шкура была уязвима для огня, но убить тролля обычным оружием было трудно — они регенерировали с пугающей скоростью, и только опытный охотник знал, что единственный способ одолеть тварь — это нанести смертельный удар прямо в сердце, пока она не успела восстановиться.

Еще одни неизменные обитатели этих краев — паломники! Особенно много их становилось в сезон.

Сезон паломничества был временем золотым в прямом смысле. Септимы, тяжёлые и звонкие, даже имперские септимы с профилем императора, оседали в кошельках трактирщиков, торговцев припасами и фермеров. В это время года дорога из Вайтрана в Рифтен, проходившая южнее, оживала. В деревню стекались не только искатели просветления в грубых мантиях, с посохами в руках и пустыми, устремлёнными в небо глазами. С ними приходили торговцы амулетами — ловкие бретонцы, разворачивавшие свои лотки прямо у подножия горы, продавцы тёплых плащей из шкур пещерных медведей и саблезубов, проводники, часто мошенники, предлагавшие сократить путь через опасные осыпи, и просто любопытные, жаждавшие увидеть гору, с которой сам Талос взывал к богам. Айварстед на несколько месяцев становился пульсирующим нервом, местом, где мирская суэта, запах жареного мяса и звон монет готовились к восхождению в область духа.

В это время даже самые скупые фермеры открывали свои закрома, продавая свежий сыр, молоко и яйца по ценам, которые в другое время года сочли бы грабительскими. Торговля кипела на площади перед таверной, голоса спорящих покупателей и продавцов смешивались с шумом реки в единый, неразличимый гул. Прибывали также и те, кто искал не просветления, а приключений — наёмники с затуманенными глазами и потёртыми клинками, которые надеялись найти работу по охране торговых караванов или разведке руин. Их присутствие всегда вносило в мирное течение жизни Айварстеда нервозность и опасность, и Вилхельм, хозяин таверны, всегда бдительно следил за такими гостями, зная, что один неверный взгляд или лишняя кружка эля может превратить мирный вечер в кровавую бойню.

А в самом центре этого нервного узла, как неуклюжий, но надёжный камень в потоке, стояла таверна «Вайлмир». Не просто здание — а сердце и душа всей деревни, место, где не только утоляли жажду и голод, но и искали ответы на вопросы, делились новостями и строили планы, которые могли изменить всю жизнь.

Часть 2: «Вайлмир»

Таверна располагалась на пригорке, отделившись от дороги ровно настолько, чтобы шум проезжающих повозок не нарушал покой гостей, но вместе с тем и не заставлял их тащить свои пожитки через грязь. Два её этажа из тёмного, почерневшего от времени и влаги камня стояли прочно, словно крепость, которую не брали ни бури, ни годы. Камни эти, добытые в ближайших карьерах у подножия горы, были грубо обтёсаны, но держались друг за друга с такой неистовой силой, что казалось, будто само здание срослось с холмом, на котором стояло. Третий этаж, надстроенный из более светлой сосны лет десять назад, когда поток паломников превысил все ожидания, казался лёгкой, почти не мысленной шляпкой на солидной голове — такая дань моде и необходимости, прилепившаяся к суровой древности. К основному зданию

жались пристройки: длинная каменная кладовая, где хранились бочонки с элем, медовухой и солёным мясом, навес для лошадей, где всегда стоял терпкий запах сена, пота и теплого навоза.

Над тяжёлой, дубовой дверью, обитой полосами ржавого железа, висела вывеска — грубо вырезанная из дерева кружка, из которой вверх поднималась замысловатой формы густая пена, и название — «Вайлмир». Под вывеской кто-то когда-то выцарапал ножом: «Пей и помни, где твой дом». Слова эти, вырезанные неопытной, но твёрдой рукой, успели заветриться и потемнеть от времени, но их смысл не потерялся. Каждый проходящий мимо, будь то странствующий наёмник или сбившийся с пути путешественник, невольно задерживал на них взгляд, и в груди у него почему-то теплело. Ведь в Скайрима, все дороги опасны, а зимы — долги и жестоки, понятие «дом» было не просто словом, а священным убежищем, ради которого некоторые шли даже на смерть.

Переступив порог таверны, посетитель попадал в царство запахов, звуков и полумрака. Воздух был густым коктейлем из дыма очага, томящегося в котле оленьего рагу с можжевельными ягодами и корнем папоротника, свежего пива, влажной шерсти от промокших под дождём плащей и сладковатого, приторного воска от оплывающих свечей. Этот запах въедался в одежду, в волосы, в кожу, становился частью тебя, и многие завсегдатаи, уезжая из Айварстеда в другие концы Скайрима, говорили, что тоскуют не столько по самой таверне, сколько по этому странному, густому аромату, который они чувствовали за многие мили после до того, как покинули таверну.

Звуки таверны создавали симфонию: низкий, утробный скрип половиц, глухой гул десятка голосов, которые не кричали, но заполняли собой каждый угол, звонкие переливы лютни Линли и вечный, раскатистый бас — рёв Чёрной реки за стеной, который здесь, внутри, превращался в уютное, усыпляющее урчание. Сквозь этот гул пробивался и звон кружек, и треск углей в очаге, и иногда, если кто-то был особенно недоволен — громкий стук кулака по столу. Но это была жизнь, настоящая, кипучая жизнь, которую Вилхельм так ценил.

Центром вселенной был очаг. Не камин, а именно очаг — широкая каменная плита в центре зала, над которой в потолок уходил широкий дымоход, собранный из плитняка. В нём день и ночь тлели толстые сосновые поленья, источая не столько тепло, воздух и так был тёплым от дыхания множества посетителей, сколько гипнотический свет. Пламя, то вспыхивая ярко, то затухая до багровых углей, рисовало на лицах сидящих вокруг фантастические тени, превращая паломников в их капюшонах в великанов, а стражников в полузакрытых шлемах в демонов. Вокруг этого очага сидели самые разные постояльцы: старый охотник, чьи руки были покрыты шрамами от когтей животных; молодая женщина-нордка, пришедшая сюда после долгого рабочего дня, чтобы согреть озябшие пальцы; бретонский торговец, который шепотом рассказывал о ценах в Солитьюде. Это была точка сбора, единственное место, где можно было забыть о разнице в сословиях и просто смотреть на огонь.

Деревянные столы, за которыми тоже ютились посетители, длинные, из грубо струганных дубовых досок, были испещрены поколениями гостей. Здесь были царапины от ножей, глубокие надписи: «Рольф был здесь», «Вилхельм лучший!», какие-то руны, вырезанные паломниками-магами, пятна вина, мёда и пива, которые уже не отмывались, а стали частью текстуры древесины. В центре столов, в специальных углублениях, застыли подтёки воска от оплывших свечей. На стенах, между массивными, почерневшими дубовыми балками, висели трофеи. Потертый щит с гербом, который уже никто не мог опознать — на выцветшей краске тускло угадывался то ли орёл, то ли дракон. Шкура огромного саблезуба с рваной дырой от копья, тщательно заштопанной тонкими кожаными нитями. Пара скрещенных дровяных топоров — не для красоты, а для напоминания, что жизнь проста и иногда мы ценим вещи по их прямому назначению.

Ближе к стойке, где стоял сам хозяин, обычно собирались самые тёртые калачи — те, кто не просто пил, а искал разговора. Сейчас там сидел старый фермер с западных ферм, извест-

ный своей сварливостью, и имперский легионер в отпуске, который рассказывал о порядках в Вайтроне. Их спор был прерван появлением молодого имперца-паломника, который, не зная местных обычаев, сразу же полез к стойке с требованием выпить.

— Вилхельм, ещё эля! И чтобы пенился, как водопад в Маркарте! — крикнул молодой имперец-паломник, с лицом, обветренным долгой дорогой до безобразия. Он был явно из тех, кто привык требовать, а не просить, и его голос, громкий и самоуверенный, на мгновение привлёк внимание всех присутствующих.

— Пенится он у того, кто не торопится его проливать, — спокойно отозвался хозяин, наполняя глиняную кружку из дубовой бочки. Его голос был низким и ровным, как течение реки в спокойную погоду. — Торопиться — получишь мутную бурду. Ты же на пути к просветлению, сынок. Начинай с терпения.

Имперец смущённо хмыкнул, принял кружку. Он надеялся услышать байку о битвах, а услышал проповедь. Но возразить не посмел — огромные кулаки хозяина, сжимающие кружку, выглядели убедительнее любых слов. Он отошёл к дальнему столу, бормоча что-то себе под нос, но его попытка произвести впечатление провалилась, и он это чувствовал.

К стойке подошла Линли, бард. Невысокая, жилистая нордка с большими голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы, собранными в небрежный, но на удивление прочный пучок на затылке. За спиной у неё висела лютня — инструмент из тёмного морровиндского ясеня, с инкрустацией перламутром по грифу, её единственное богатство. Она бережно положила лютню на стойку, словно это был не инструмент, а живое существо, которое нужно было защищать от грубого обращения.

— Счёт, хозяин! За неделю поста и полторы курицы! — она улыбнулась, ямочки проступили на её худых, но миловидных щеках. В её небесно-голубых глазах, плясали лукавые искорки, которые могли растопить сердце даже самого сурового норда.

— И за три кружки медовухи, которыми ты угостила того имперского торговца, — беззлобно уточнил Вилхельм, сверяясь с грифельной доской. На доске, исписанной мелом, были видны столбцы цифр и имен, и именно эту доску Вилхельм считал своим главным оружием в новой жизни. — Линли, голубка, твоё великодушие разорит меня раньше, чем дракон...

— Он рассказывал такие истории о Сиродиле! — глаза барда смеялись, хотя сколько путников рассказывали ей подобные истории, уже не счесть. — О дворцах из белого камня, где фонтаны бьют вином! Он говорил, что в Имперском городе деревья растут прямо из мрамора, а по улицам ходят золотые статуи, которые умеют петь!

— ...А на самом деле вода там такая же, как в нашей реке, только запах другой, — перебил её Вилхельм, пряча усмешку в бороде. Он аккуратно протёр кружку тряпкой, и ткань заскрипела по глине. — И фонтаны там пахнут не вином, а медью и старой кровью. Имперский город — это не сказка, Линли. Это огромный улей, где люди работают с утра до ночи, чтобы платить налоги. Взгляни на их лица, если когда-нибудь доберёшься туда. На них нет счастья, есть только усталость. Он, конечно, пообещал взять тебя с собой в следующий раз?

— Ну... — Линли покраснела, опустив взгляд на свои руки, и нервно теребила край рубашки. — Он сказал, что я красивая, и что мои песни могут принести славу в любом городе или провинции Тамриэля.

— В Сиродиле сейчас пахнет не вином, — вздохнул хозяин, становясь серьёзным, — а гарью и страхом. Империя трещит по швам. Я слышал, что в Коловии снова неспокойно, а в Хаммерфелле фанатики-редгарды готовят восстание. Держись подальше от больших дорог и больших обещаний, певчая птичка. Слова торговца дешевле его же товара.

— Ты становишься занудой, старый медведь, — фыркнула Линли, но бросила на стойку несколько монет. Она знала, что Вилхельм прав, но не хотела признаваться в этом даже себе. — Как твоя поездка в Рифтен? Готов?

Вилхельм кивнул. Его взгляд задумчиво скользнул к окну, где только начинало светать, окрашивая облака в цвета запёкшейся крови и лаванды. Рифтен. Город каналов и теней, богатых особняков на Сухой стороне и гниющих трущоб на Дощатой. Город, где каждый камень дышит заговором, а каждый житель носит под плащом кинжал или лживую улыбку. Гильдия Воров, чьи члены дергают за ниточки даже в Миствейле, и клан Мавен Чёрный Вереск, чьё имя произносили шёпотом, потому что за ним стояла смерть. Богатые торговцы и нищие воры, перетекающие друг в друга в сумерках. И «Чёрный Вереск» — лучшая медоварня во всём владении Рифт, чей рецепт держался в тайне уже не одно поколение. Его ежегодная поездка за партией чёрноверескового мёда была не просто коммерцией. Это был ритуал. Без этого мёда, густого, тёмного и терпкого, как память о былом, его знаменитый «Медовый шторм» был просто сладким элем, который любой трактирщик мог бы приготовить. Но с ним... с ним напиток превращался в легенду. Именно за легендой он и отправлялся в путь завтра, на рассвете.

— Готов, как никогда, — ответил он, и в его голосе послышалась сталь, которая не исчезала даже в самые мирные минуты. — Но дорога до Рифтена в это время года полна сюрпризов. Может быть сухо, а может — грязь по колено.

— Тогда тем более нужно запастись хорошим элем, чтобы было чем согреться в дороге, — резонно заметила Линли, и её улыбка стала чуть мягче. — Возвращайся, старый медведь. Без тебя здесь станет скучно.

— Если не вернусь, — усмехнулся Вилхельм, но в его усмешке не было веселья. — Если не вернусь, таверна достанется тебе. Будешь петь за стойкой.

— Вот уж нет, — фыркнула она. — Я петь не перестану, где бы я ни была. А таверну я, пожалуй, продам.

— Даже не сомневаюсь, — откликнулся он, и в их голосах была та тёплая, ироничная близость, что бывает только между старыми друзьями, которые видели друг друга в хорошие и плохие времена.

Часть 3: Хозяин. В прошлом воин, ныне трактирщик.

Его было трудно назвать просто крупным. Он был горой мышц, сращенной с костями. Ширина его плеч, казалось, бросала вызов дверным проёмам, и, входя в таверну, он инстинктивно слегка поворачивался, хотя для его фигуры проёмы были достаточно широки. Эта привычка осталась у него с тех времён, когда он пробивался сквозь завалы в пещерах и древних руинах, где каждый лишний сантиметр мог стоить жизни. Руки, покрытые сетью бледных, уже заживших шрамов и сложной вязью татуировок в нордском стиле — переплетённые узоры, оскаленные морды волков, скрещенные мечи и топоры — легко управлялись с тяжелыми бочонками, как другой человек — с кружками. Вены на предплечьях вздувались, когда он поднимал бочку с элем, но лицо его оставалось невозмутимым. Это была не просто физическая сила, это была выученная мощь человека, который привык не обращать внимания на боль.

Лицо его было картой былых сражений. Глубокий шрам на лбу, рассекающий левую бровь до кости, — память от топора. Тот бой произошёл у границы с Морровиндом, когда его отряд попал в засаду. Он помнил хруст собственной кости, помнил кровь, заливающую глаза, и помнил, как шёл вперёд, даже когда мир вокруг стал красным и мутным. Слегка кривоватый нос, сломанный в кулачной драке в таверне «Спящий великан» много лет назад. На щеке — шрам в виде неровной звезды, оставленный то ли копьём, то ли стрелой. Густая, рыжеватая борода, густо пронизанная сединой, скрывала линию рта. Но глаза... глаза выдавали иное. Голубые, как озеро Гейр в полдень, глубоко посаженные, они смотрели на мир с усталой, но не угасшей мудростью. В них жила не злоба воина, а внимательная оценка тактика, привык-

шего замечать слабости и сильные стороны. Каждого вошедшего он оценивал одним коротким взглядом: кто перед ним — случайный путник, опасный наёмник или беспомощный паломник.

Вилхельм редко рассказывал о прошлом. Но в Айварстеде знали. Вилхельм Огненная Грива — когда-то знаменитый наёмник, вожак небольшой, но грозной дружины «Волки Соратники». Они не брали сторон в войнах кланов, не выступали на стороне легионов Империи или отрядов Буревестника. Их нанимали для решения точечных, смертельно опасных задач: выбить упрямого тролля, обосновавшегося в пещере у торгового тракта; охранять караван с малахитом от набегов великанов; найти пропавшую реликвию в древних руинах, где каждый камень мог обрушиться или оказаться ловушкой. Слава, кровь, золото... и предательство. История была тёмной, обрывочной. Говорили, что его людей подставили, перебили в западне у границы с Морровиндом. Выжил только он, вынесший с поля боя тело своего младшего брата. После этого медальон с волчьим оскалом, символ его дружины, был зарыт у подножия Глотки Мира, меч «Разящий» повешен над камином в купленной им таверне, а секира «Ледокол» отправлена на оружейную стойку в его каморке. Он сменил сталь на дуб, боевые кличи на звон монет, а тактику сражений — на стратегию заготовки провианта на зиму.

Теперь его дни проходили в размеренном ритме: утром он проверял запасы, днём принимал новых постояльцев, а вечером сидел у очага и слушал рассказы путников. Он знал почти всё, что происходило в Скайриме — от слухов в Виндхельме до цен на малахит в Маркарте. Но он редко делился этим знанием. Он был как камень в реке: его не смыть, не сдвинуть, и он видел всё, что проплывает мимо, но сам оставался неподвижным. Иногда, в особенно тихие вечера, когда Чёрная река затихала, а в таверне не оставалось никого, кроме него и Линли, он уходил в свою каморку, садился за стол и смотрел на старый потёртый серебряный медальон, который он не закопал, а спрятал в тайнике под половицей. Это было его прошлое, его боль и его урок.

Наутро, перед рассветом, когда деревня ещё спала, а в таверне было тихо и прохладно, он начал свои сборы. Обычно, в такие дни, он старался не привлекать внимания, но сегодня всё было иначе. Ночь выдалась беспокойной: он слышал вой вдалеке, не похожий на волчий, и видел странные тени, мелькавшие за окном. Его старый инстинкт воина, который он считал давно уснувшим, вновь пробудился и ныл под лопаткой, настойчиво предупреждая о грядущей опасности.

В главном зале было пусто. Угли в очаге уже почти остыли, и лишь слабый отблеск тепла позволял разглядеть очертания столов. Вилхельм стоял у камина, глядя на меч «Разящий». Клинок висел в ножнах из дублёной кожи, украшенных серебряной инкрустацией, изображающей его старый клан. Он не брал его в руки уже с прошлого похода в Рифтен за медом, который был прошлой весной, но сегодня, глядя на меч, он чувствовал странную тоску — не по крови, а по той чистоте и простоте, что была в его молодости. Тогда всё было ясно: есть враг, и есть ты. Сейчас всё сложнее. Враг может сидеть за твоим столом и улыбаться, называться другом и предать тебя в ту же секунду, когда ты отвернёшься.

Он вздохнул, тяжело и шумно, как старый кузнечный мех, и направился в свою каморку за кухней. Если уж ему суждено отправиться в Рифтен, а ему нужно туда отправиться, так требовала Мавен Чёрный Вереск, что бы Вилхельм ежегодно прибывал к ней на подписание договора о поставках черновверескового меда. Он отправится туда не как трактирщик с пустыми руками, а как человек, готовый ко всему.

Часть 4: Сборы в Рифтен.

Следующий день Вилхельм начал не у стойки, а в своей каморке за кухней. Комната была простой, без лишних изысков, но каждая вещь в ней была на своём месте. Это была комната

человека, который привык к порядку не из педантичности, а из выживания — в бою беспорядок убивает быстрее, чем враг. Деревянная кровать — широкая, с матрасом из хлопковой ткани, который он сам набивал каждый год, чтобы не скатывался, поверх застелен шкурами. Сундук, окованный железными полосами, с хитрым замком, который он приобрёл у бретонского мастера в Сольтюдe много лет назад. Массивный дубовый стол, весь в царапинах и пятнах от чернил — на нём он вёл свои счета, писал письма и иногда, в минуты слабости, рисовал углём карты тех мест, где когда-то сражался. И оружейная стойка у стены. На ней в строгом порядке висели мечи, копья с широким наконечником, несколько метательных топориков, а также лук из тисового дерева, который он не использовал уже лет пять, но держал в идеальном состоянии — на всякий случай, как говорили старые наёмники.

Он достал из сундука то, что не надевал с прошлого похода в Рифтен. Кожаные доспехи, искусно выделанные из шкуры пещерного медведя, усиленные стальными пластинами на плечах, груди и спине. Каждая пластина была тщательно подогнана, чтобы не стеснять движений, но при этом прикрывать жизненно важные органы. Набедренники и поножи из той же толстой кожи, с нашитыми стальными бляхами. Это были не доспехи имперского легионера — слишком тёмные, без единой блестящей детали, но и не одежда трактирщика. Это была вторая кожа, память тела о другой жизни. Она скрипнула, когда он натянул её на широкие плечи, и этот скрип показался ему приветствием из прошлого, местами горьким, местами пьянящим. Запах кожи, смешанный с запахом старого пота и металла, ударил в нос, и на мгновение Вилхельму показалось, что он снова стоит на поле боя, сжимая в руках секиру, а вокруг него — крики и звон стали.

Он провёл ладонью по стальной пластине на груди, проверяя, не ослабла ли заклёпка. Всё было надёжно. Он всегда следил за своей амуницией, даже когда не надевал её годами. Это была привычка, которую он приобрёл ещё в юности, когда служил в отряде наёмников, и которая, в отличие от многого другого, осталась с ним. «Оружие и доспех — твои единственные друзья, которым можно доверять до конца», — любил говорить его старый командир, которого уже нет в живых. Он помнил его слова и сейчас, когда застёгивал ремни и подгонял перевязь.

Он взял с отдельной оружейной стойки секиру. «Ледокол». Её вес был странно родным и чужим одновременно. Рукоять из тёмного ясеня, отполированная до зеркального блеска десятилетиями хватки, была покрыта едва заметными насечками — каждый шаг, каждая победа, каждая потеря оставались на ней невидимыми шрамами. Широкое, однолезвийное полотно с выгравированным у основания бегущим волком — тотемом его старого клана. Он провёл большим пальцем по лезвию. Острое. Он точил его каждый месяц, сам не зная зачем. По привычке. По суеверию. Или, быть может, на случай, если судьба снова кинет его в бой. Он сжал рукоять, и в этот момент секира будто ожила в его руке — она помнила его так же хорошо, как он помнил её. В его голове пронеслись образы прошлого: заснеженные перевалы, дымящиеся руины, лица товарищей, которых больше нет. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Прошлое осталось в прошлом. Сейчас он — трактирщик, и его секира — лишь напоминание о том, кем он когда-то был.

Он окинул взглядом свою комнатку, где всё было пропитано запахом старого дерева, воска и его собственной, давно ушедшей молодости, и вышел в главный зал, направляясь к камину, над которым висел меч «Разящий». Он взял его, взвесил в руке. Меч был лёгким, но смертоносным — оружие для быстрых ударов, для работы в тесных пространствах. Он пристегнул его к поясу, и клинок привычно лёг на бедро. Затем он надел плащ — плотный, шерстяной, тёмно-серый, с капюшоном, который мог защитить от ветра и скрыть лицо. Он потянулся за кожаной сумкой, куда сложил немного еды, флягу с водой, небольшой мешочек с монетами и письмо от одного из своих знакомых в Рифтене, которое должно было помочь ему получить мёд без лишних торгов.

— Собираешься на войну, старик? — из дверного проёма раздался насмешливый, скрипучий голос.

Вилхельм, не оборачиваясь, водрузил секиру на спину, за специальную стальную скобу на перевязи, которая плотно прилегала к доспеху. Секира глухо стукнула о пластину на спине, и этот звук разнёсся по пустому залу.

— На войну за хороший мёд, Климмек. Более кровавой битвы не придумаешь.

В проёме стоял высокий, сутулый норд с лицом, которое, казалось, навсегда застыло в гримасе недовольства. Климмек, лучший и самый злобный лесоруб на лесопилке Тембы. Его руки, огромные и узловатые, были покрыты свежими мозолями, а рубаха — в пятнах смолы и грязи. Он часто ночевал в таверне, когда ссорился с женой из-за своих походов, а ссоры на этой почве случались почти ежедневно. Говорили, что жена у него была женщина с характером, не уступавшая ему в силе и злобе, и что их брак был полем битвы, на котором побеждала то одна, то другая сторона. Но сегодня Климмек пришёл не для того, чтобы жаловаться на жену. Он выглядел обеспокоенным — настолько, что даже его вечная гримаса немного сгладилась.

— Слышал, в предгорьях опять беспокойно, — сказал Климмек, присаживаясь на краешек стола, который жалобно скрипнул под его весом. Он почесал затылок и оглянулся на окно, словно ожидая увидеть что-то угрожающее. — Йофтор вчера ворчал – его носильщик, Арнбырн, пропал. Словно сквозь землю провалился.

— Молодой? Глупый? Мог и с тропы свалиться, увлечшись погоней за дикой козой, — отозвался Вилхельм, равнодушно проверяя застёжки на перевязи для меча. Короткий, нордский клинок «Разящий» в потёртых, но добротных ножнах уже висел слева у бедра. Рукоять клинка, обмотанная кожей ската, не скользила в ладони. Он был спокоен, но внутри уже что-то царапнуло — он знал, что такие пропажи редко бывают случайными в этих местах.

— Арнбырн? Он боялся своей тени, — Климмек покачал головой, и его голос стал ниже. — Да и не он один. Пару дней назад двое с лесопилки смылись. Добрые парни, работающие. Оставили всё: одежду, инструменты, деньги. Даже не попрощались. Говорят, что-то шепталось им с озера, с гробницы Гейрмунда. Призывало.

Вилхельм замер. Курган посреди озера. Гробница древнего архимага Первой эры, времён верховного короля Харальда. Место, которое обходили стороной даже местные рыбаки, предпочитая ловить рыбу на южной оконечности озера. Говорили, что дно у кургана усыпано костями тех, кто попытался грести слишком близко. И ещё говорили, что старый могильник хранит не только прах архимага, но и нечто, запечатанное им в наказание за древнее предательство. Вилхельм слышал эти истории много раз, но никогда не придавал им значения. Однако сейчас, когда Климмек упомянул это, он почувствовал холодок, пробежавший по спине. Он вспомнил, как в детстве старики рассказывали о том, что в тихие ночи с озера доносится звон, похожий на колокольный, но не слышимый ушам, а ощутимый в костях.

— Шёпот из кургана? — он хмыкнул, но в смехе не было веселья. — Может, просто пили плохого эля с дурманом. Я на неделю. Присматривай за порядком. И не пугай моих постояльцев байками. И если кто-то ещё пропадёт, сразу дай знать в Рифтен.

— Это не байки, Вилхельм, — Климмек вдруг стал серьёзен, его губы сжались в узкую полоску. Он перегнулся через стол, понизив голос до шёпота. — Гора не спит в этом году. Она... ворочается. Земля под ногами дрожит по ночам. Вчера я был на вырубке, и там, в скалах, я слышал... стук. Будто кто-то огромный бьёт молотом по камню изнутри. Это не к добру.

Вилхельм посмотрел на него, потом кивнул, принимая информацию к сведению. Он не мог позволить себе игнорировать такие предупреждения, но и не мог позволить страху помешать его делам. Он повязал на левую руку кожаный ремешок с выжженным знаком «Вайлмира» — той самой кружкой с пеной. Знак хозяина. Знак возвращения. Этот ремешок был для него не просто украшением — это был оберег, который, как он верил, возвращал его домой, даже когда дороги были тёмными и опасными.

— Тогда тем более нужно хорошего мёда. Чтобы запить дурные мысли.

— Ещё снова видели призрака у кургана Погребальный Огонь, — не унимался Климмек, в его голосе слышалась не только тревога, но и какое-то мрачное удовлетворение от распространения пугающих новостей. Он явно наслаждался тем, что его слушают, и накручивал себя всё больше.

— Как вернусь из Рифтена, мы с тобой обязательно проверим этот курган, — Вилхельм похлопал своей могучей, тяжёлой ладонью Климмека по плечу так, что тот пошатнулся. — А сейчас прости, мне нужно отправляться в путь. Время не ждёт, а дороги весной коварны – то грязь, то бандиты. Или что еще хуже.

Он взял с вешалки свой дорожный посох — прочную палку из дуба, окованную железом на конце, которая могла служить и опорой, и оружием в случае нужды, хотя в основном он полагался на секиру. Климмек провожал его взглядом, полным мрачных предчувствий, но промолчал. Он знал, что спорить с Вилхельмом бесполезно.

Часть 5: Дорога в Рифтен.

Путь из Айварстеда в Рифтен пролегал сначала вдоль бурной Чёрной реки, чьи воды с грохотом перекатывались через валуны, покрытые скользким мхом. Река здесь была особенно своенравна — она пробивала себе путь сквозь скалы, создавая пороги и водовороты, которые могли утащить на дно даже опытного пловца. Вилхельм шёл по тропе, которая вилась вдоль берега, и каждый шаг сопровождался плеском воды и свистом ветра. В воздухе пахло влажным камнем и водорослями, а с неба, на удивление, выглянуло солнце, осветившее мокрые скалы, на которых играли радужные блики.

Потом дорога уходила на юг, вступая во владения золотых лесов Рифтена. Здесь деревья были выше, гуще, и их кроны, уже начинавшие зеленеть весенней листвой, создавали своеобразный тоннель, в который редко проникали солнечные лучи. Вилхельм шёл быстрым, экономным шагом бывшего путника. Секира на спине ритмично постукивала о пластины доспеха, задавая темп его шагам. Лес вокруг пел весеннюю песню: журчание множества ручьёв, стекающих с окрестных холмов, перекличка птиц — ярко-синих соек и чёрных дроздов, шелест молодой, клейкой листвы на дубах и клёнах. Но в этой песне Вилхельм, чей слух был обострён годами охоты и войны, улавливал фальшивые ноты. Слишком тихо было в чаще. Ни треска веток под копытами оленя, ни шумной перепалки белок на соседних ветках. Как перед грозой. Когда воздух становится тяжёлым, а звери затаиваются в норах.

Он вспомнил рассказы старых охотников, которые говорили, что если лес внезапно затихает — значит, рядом хищник. Но какой хищник может заставить замолчать весь лес? Медведь? Саблезуб? Нет, даже они не создают такой пустоты. Только что-то большее, что-то неестественное. Он сжал левой рукой рукоять меча, готовый к любой неожиданности.

На развилке, где тропа на Истмарк уходила на восток в сторону Морровинда, он остановился на минуту, чтобы поправить ремни. Истмарк, земля туманов и сосен, о которой рассказывали, что там, в древних руинах, до сих пор обитают тени давно ушедших эпох. Но ему было не до Истмарка — его путь лежал в Рифтен.

Он уже миновал эту развилку и углубился в лес, когда уцепил взглядом странное пятно у обочины. Не просто тень от дерева, а нечто пёстрое, неестественное на фоне серо-зелёного мха. Его сердце сжалось от недоброго предчувствия, и он замедлил шаг, прислушиваясь. Тихо. Только ветер в кронах. Он подошёл ближе, и всё его тело напряглось, как тетива лука.

На мху, скрючившись в неестественной позе, лежал мальчик. Норд, лет тринадцати, может, четырнадцати. Его лицо было бледным, почти восковым, с синими тенями под закрытыми глазами. А волосы... русые волосы, местами выгоревшие на солнце до цвета спелой пше-

ницы и шея были покрыты чёрной, липкой кровью, загустевшей и запёкшейся в спутанных прядях. Рядом валялся разорванный мешок, из которого высыпались какие-то травы и сушёные грибы. Вилхельм мгновенно, не раздумывая, опустился на одно колено, склонил голову к нему насколько позволяли доспехи и прислушался. Дыхание. Слабое, прерывистое, с булькающим хрипом, но было. Жив.

— Эй, парень. Парень! — он осторожно потряс его за плечо, стараясь не причинить лишней боли. Его руки, привыкшие сжимать оружие, сейчас были необычайно бережны. — О Боги! Мара, Кинарет, Акатош, Талос... кто ж его так?

Мальчик застонал. Его веки дрогнули, приоткрылись. Глаза, стеклянные от шока и боли, впелись испуганным взглядом в лицо Вилхельма. В них плескался первобытный ужас, но сквозь него пробивалась искра узнавания.

— Ра... Ратик, — выдохнул мальчик, и его взгляд сфокусировался на лице спасителя на миг. — Они... все... — Его голос оборвался, и он снова погрузился в небытие.

Вилхельм сжал зубы так, что заскрипела челюсть. Ратик. Имя ему ни о чём не говорило. Но картина была ясной: нападение на дороге. Не случайные разбойники — слишком жестоко, слишком... вычурно. Он быстро, но аккуратно осмотрел голову мальчика. Страшная рваная рана на темени, но череп, кажется, цел. Следов других ран, кроме ссадин на руках, не было. Но кто же мог так поступить с ребёнком? И где остальные? Он огляделся по сторонам, ища следы повозки или других тел, но ничего не увидел. Бандиты обычно забирают поклажу и уходят, но здесь мальчик был брошен, и его мешок с травами валялся рядом нетронутым. Это было странно. Очень странно.

Нужно было быстро добраться до сторожевой башни Рифтена, что стояла ещё в паре часов ходьбы отсюда. Оставить ребёнка здесь — значит подписать ему смертный приговор. Ночью сюда выйдут волки, рыси, а то и что-то похуже. Или те, кто это сделал, вернуться, чтобы забрать добычу. Не раздумывая, Вилхельм снял с себя дорожный плащ из плотной шерсти, бережно обернул мальчика, поднял его на руки. Он был лёгким, истощённым, почти невесомым. С такой ношей скорость, конечно, упала, но отступать было некуда — сердце не позволяло. Он двинулся вперёд быстрым, но осторожным шагом. Мышцы его рук напряглись до предела, но не от тяжести, а от напряжения: он вслушивался в каждый шорох леса, готовый в любой момент опустить свою ношу и выхватить секиру. Лес молчал. Слишком молчал. Даже река, казалось, притихла, словно и она ждала чего-то.

Он шёл, не сбавляя шага, и в голове его крутились мысли. Он думал о том, что его мир, мир таверны, шума реки и запаха эля, вдруг столкнулся с чем-то чудовищным. Этот мальчик — не просто несчастный случай. Это знак. Знак того, что Скайрим меняется, и перемены эти кровавы. Он вспомнил слова Климмека о шепоте с озера, о дрожащей земле. И теперь это. Он не знал, что именно происходит, но чутьём воина чувствовал: он идёт прямо в эпицентр бури.

Впереди, сквозь деревья, уже виднелась башня. Она стояла на небольшом холме, и из её верхнего окна доносился слабый свет факела. Вилхельм прибавил шаг, почти бегом, хотя тяжесть мальчика на руках начинала давать о себе знать. Его ноги, обутые в добротные кожаные сапоги, уже начинали уставать, но он не останавливался.

Вдруг он услышал звук. Не треск ветки, не крик птицы. Это был звук шагов. Много шагов. И они приближались. Он резко свернул с тропы, спрятавшись за толстым стволом старого дуба, и затаился. Мальчик на руках не издал ни звука, и Вилхельм лишь надеялся, что он не закричит. Шаги становились громче. Из леса вышли трое. Люди, но не обычные. Одеты они были в лохмотья, их лица были скрыты капюшонами, и они двигались странной, неуклюжей походкой. В руках у них были топоры и дубины, зазубренные и окровавленные.

Вилхельм не шевелился. Он знал: если он сейчас выдаст себя, то не сможет защитить мальчика. Он ждал, пока они пройдут мимо. И они прошли — в десяти шагах от него, даже не взглянув в его сторону. Они шли, переговариваясь на каком-то странном наречии, которое

он не мог разобрать. Как только они скрылись за поворотом, Вилхельм выдохнул и двинулся дальше. Он понял: в этом лесу уже не только звери охотятся. Здесь охотятся люди. Или то, что когда-то было людьми.

До башни оставалось совсем немного. Он решил идти напрямую, не сворачивая с тропы. Если что-то случится, он будет драться. Он всегда был готов драться.

Часть 6: Некромант. Танец смерти.

Они появились, когда до башни оставалось совсем чуть-чуть — один поворот и короткая прямая. Появились не с дороги, а из самой чащи, словно соткавшись из сумерек, которые начали сгущаться между стволами. Сначала это были просто тени, мелькающие в косых лучах заходящего солнца. Потом тени обрели форму. Вилхельм остановился, чувствуя, как каждый мускул в его теле напрягся до предела. Он медленно, стараясь не делать резких движений, опустил мальчика на землю, привалив спиной к старому, заросшему мхом валуну, который лежал у обочины. Он накрыл его своим плащом, прошептал: «Лежи смирно, не дыши». Знал, что тот всё равно его не услышит, но это был ритуал, привычка воина перед боем — убедиться, что то, что ты защищаешь, в безопасности.

Люди. Вернее, то, что от них осталось. Семеро. Их одежда и разношерстные доспехи — от форменной кирасы Имперского легиона с выцветшим орлом до ржавых кольчуг Братьев Бури и даже городской стражи Рифтена — были в грязи, запёкшейся крови и зелёной слизи болот. Их движения были неестественно резкими, дёргающимися, как у марионеток, за нити которых дёргал неумелый кукловод. Лица землистые, с провалившимися щеками; глаза, у некоторых отсутствовавшие вовсе, затянуты молочно-белой пеленой смерти, через которую пробивался тусклый, нечеловеческий свет. Но они двигались. Целенаправленно. И в их руках, сжимающих заскорузлыми пальцами древки и рукояти, были мечи и топоры, зазубренные от долгого использования. Это были не просто мертвецы — это были солдаты, павшие в разных битвах, собранные с разных полей Скайрима и скреплённые воедино чужой злой волей.

Вилхельм плавно, без лишних движений, выпрямился и выхватил из-за спины секиру «Ледокол». Его взгляд пробежал по каждому из них, оценивая расстояние, оружие и скорость. Он знал, что такие создания не чувствуют боли, не знают усталости и не отступают. Но они были неуклюжи, их движения — дёрганы и предсказуемы, если знать, как читать их. Он встал в низкую, устойчивую стойку, чуть выставив вперёд левую ногу, и приготовился. Знакомый, забытый восторг предстоящей битвы ударил в виски горячей волной, разгоняя кровь. Это не была ярость, не слепая животная злоба. Это была холодная, чистая, как горный хрусталь, концентрация. Бешеный прилив сил. Его мир сузился до лезвия секиры и расстояния до ближайшего мертвеца.

Они бросились в атаку, не издавая ни звука. Их стиль был грубым, лишённым всякой логики и тактики — только бездумный удар, ещё удар, ещё. Вилхельм отшатнулся от первого широкого, размашистого удара ржавым топором, пропуская его в миллиметре от лица. Он чувствовал, как воздух колыхнется от силы удара, и видел, как лезвие топора со свистом прошло мимо его щеки. В тот же миг его секира описала короткую, сокрушительную дугу. Сталь впилась в шею нападавшего с глухим, влажным хрустом, перерубая позвонки и трахею. Голова, на мгновение удерживаемая лоскутом кожи, неестественно завалилась набок, тело рухнуло, но не замерло, а ещё несколько секунд бестолково дёргало конечностями, словно пыталось собрать себя вновь. Некромантия. Проклятая, искажающая саму природу магия, которая попирала все законы жизни и смерти, которую сами боги, по преданиям, запретили.

Двое других зашли с флангов, их движения были чуть скоординированнее. Вилхельм, пригнувшись, сделал резкий выпад вперёд, подрубив одному колени ниже надколенника; нога

подвернулась с хрустом высохшей ветки, и мертвец рухнул, насаживаясь грудью на торчащий корень. Он взревел — его лицо исказилось, но это не был крик боли, это был механический звук, который издавала истлевшая гортань, когда её что-то сжимало. Вилхельм развернулся, парируя удар меча второго. Сталь звенела о сталь, высекая голубоватые искры в сгущающемся сумраке леса. Он был сильнее, опытнее, но они не чувствовали боли, не знали усталости и потерь. Их было еще пятеро. Один, с длинным кинжалом, пытался зайти в обход, к валуну, где лежал мальчик. Вилхельм, не разрывая дистанции с мечником, отшвырнул его мощным ударом ноги в грудь. Раздался хруст рёбер, но нежить, падая, всё равно выбросила вперёд руку с кинжалом, полоснув по ноге норда. Клинок скользнул по стали, лишь оставив глубокую царапину — но лезвие было зазубренным и грязным, и Вилхельм почувствовал, как по ноге потекла горячая кровь. Он не обратил на это внимания — было не до того.

Ещё двое набросились сзади, и ему пришлось уворачиваться, делая невероятные для его габаритов кульбиты, которые он отточил за многие годы боев. Он снова взмахнул секирой, снёс одному из них руку по локоть, но тот даже не замедлился, продолжая наступать на культе. Это было жуткое зрелище — мертвец, который шёл на врага, потеряв половину своего тела, ведомый только магией. Вилхельм сплюнул сквозь зубы, чувствуя, как начинает закипать ярость, но он сдерживал её, потому что ярость в бою — это путь к ошибке.

И тогда раздался смех. Высокий, скрипучий, полный ледяного презрения к живым. Смех этот пронзил воздух, как игла, и даже мертвецы на мгновение замерли, словно ждали команды.

Из-за деревьев вышел он. Высокий, тощий, как скелет, обтянутый пергаментной кожей. На нём была чёрная, истрепанная временем мантия, расшитая тусклыми серебряными рунами, которые слабо мерцали в темноте, словно в них горел холодный, злобный огонь. Руны эти были древними, из языка, который не использовался уже сотни лет, — возможно, это были даэдрические письма или что-то ещё более тёмное. В руках — посох из чёрного дерева, увенчанный кристаллом, внутри которого пульсировал мертвенно-фиолетовый свет. Этот свет был живым, он дышал, словно внутри кристалла билось сердце. Его лицо было скрыто глубоким капюшоном, но из темноты прорези смотрели две точки горячего, злобного голубого огня. Воздух вокруг него стал холоднее, и запахло озоном — верный признак мощной магии. Вилхельм видел таких раньше — в Морровинде, где он однажды встречал культистов, которые поклонялись даэдра. Но здесь, в Скайриме, это было редкостью, и тем более опасной.

— Какая трогательная картина, — просипел некромант, его голос звучал как скрежет ржавого железа по стеклу. — Добрый норд спасает... обед моих подопечных. Отдай мальчика. Его кровь ещё тепла. Она нужна для ритуала. Обещаю, я убью тебя быстро. Без боли. Просто — раз, и ты уйдёшь в Совнгард, как и подобает воину.

— Подойди и возьми, — бросил Вилхельм, отбивая очередной удар и отступая к валуну, чтобы прикрыть собой подходы к Ратику. Он говорил спокойно, но в голосе его звенела сталь. Он не боялся некроманта, но чувствовал, что тот силён, и что эта битва будет тяжелее, чем с простыми мертвецами.

— С удовольствием! — злобно проскрипел некромант, взмахнул посохом. Из кристалла вырвался сгусток липкого, серо-чёрного света. Свет этот не был похож на обычное пламя или молнию — он был болезненным, гнилым, как плесень, которая растёт на старых костях. Он ударил не в тело, а в душу.

Вилхельма охватила внезапная, всепоглощающая слабость. Ноги стали ватными, в глазах потемнело, а в ушах зазвенел такой пронзительный звук, что захотелось закрыть ладонями уши. Это был не просто страх — это был магический ужас, высасывающий волю, превращающий воина в безвольную куклу. Он чувствовал, как его разум мутится, как силы утекают сквозь пальцы, как будто кто-то выкачивал из него саму жизнь. Он видел, как оставшиеся мертвецы, воспользовавшись моментом, сомкнули круг, подходя всё ближе, их ржавые клинки уже почти касались его доспехов.

Вилхельм, преодолевая ледяной ожог в жилах, собрал остатки воли. С глухим, звериным рыком, больше похожим на хрип умирающего, он занёс секиру для последнего, отчаянного удара. Он мысленно попрощался со своей таверной, с шумом реки, с запахом свежего хлеба Линли. «Совнгард ждёт меня», — пронеслось в голове. Он представил себе залы Совнгарда, где воины пьют мёд и сражаются вечно, где его ждут павшие товарищи. «Хорошо, — подумал он. — Я сражался хорошо». И в этот миг мир взорвался огнём.

Ослепительная, раскалённая до бела стена пламени пронеслась между ним и мертвецами, сожрав троих из них мгновенно. Воздух затрещал, запахло горелой плотью, серой и чем-то сладковатым — сгоревшей магией. Два оставшихся оживлённых трупа, охваченные огнём, заметались, беспомощно забили на земле, превращаясь в куски тлеющего пепла и костей. Вилхельм пошатнулся, но устоял, глядя на это зрелище. Он чувствовал, как магия некроманта отступает, как страх, впившийся в его сердце, отпускает.

Из клубов дыма и пара, словно рождённая самим пламенем, вышла женщина.

Бретонка. Невысокая, но с очень прямой, напряжённой осанкой человека, привыкшего командовать. На ней был лёгкий кожаный доспех, поверх простой мантии мага, обгоревшей по краям. Её каштановые волосы были собраны в тугую, практичный пучок, лицо — покрыто копотью, но выражало лишь хладнокровие и оценку. В её руках не было посоха — лишь пальцы, тонкие и длинные, с которых ещё стекали остатки магической энергии, светящиеся алым. Её глаза, зелёные, как весенняя трава Рифтена, быстро оценили ситуацию. Она была напряжена, как тетива лука, и готова к новому заклинанию в любой момент.

— Твоя игра окончена! — Её голос был тихим, но острым, как бритва. Она смотрела прямо на некроманта, и в её взгляде не было ни капли страха.

Некромант отступил на шаг, подняв посох для защиты. Его глазницы-огоньки сузились в щёлочки. Он явно был удивлён — он не ожидал вмешательства.

— Маг Разрушения? Какая неожиданность... Но ты опоздала. Мальчик — мой. Его кровь уже начата. И твоя кровь... тоже не помешает.

Он резко ударил посохом в землю. Из кристалла ударил плотный столб лиловой энергии, обволокший его. Раздался звук рвущейся ткани реальности — громкий, неприятный, от которого закладывает уши — и когда свет рассеялся, некроманта на месте не было. Лишь в воздухе висело эхо его шипящего, полного ненависти смеха. Вилхельм смотрел на пустое место, где только что стоял враг, и чувствовал, как по спине пробегают мурашки. Это была не просто телепортация — это было бегство, но бегство, которое требовало огромной силы.

Бретонка не стала преследовать. Она повернулась к Вилхельму. Её взгляд скользнул по его доспехам, по секире, задержался на лице, изучая шрамы. Она, казалось, оценивала его, как оценивают потенциального союзника или врага.

— Ты ранен? — коротко спросила она. Её голос был ровным, деловым, без эмоций.

— Нет, — отдышавшись, выпрямился Вилхельм. Магический страх отступил, оставив послевкусие железа во рту и дрожь в коленях. Он провёл рукой по лицу, стирая пот и грязь. — Спасибо. Ты пришла вовремя. Я думал, что всё кончено.

Она кивнула, её взгляд переметнулся к валуну, за которым без сознания лежал мальчик. Она подошла ближе, наклонилась, одним быстрым, профессиональным движением проверила пульс на шее, заглянула в глаза, приподняв веко. Затем она выпрямилась, её лицо осталось бесстрастным.

— Он жив. Но ему нужна помощь, и скоро. Если его рану не обработать, начнётся лихорадка.

— Я несу его к башне, — сказал Вилхельм. — Ты идёшь со мной?

Она покачала головой, и в её глазах мелькнула тень тревоги.

— Девочку не видел? Бретонка. Девяти лет. Карие глаза, пепельные волосы. Одежда с вышитыми звёздами серебряной нитью. Она была в составе торгового каравана... я думала,

она с ними. Но на караван напали редгарды-разбойники, я пришла слишком поздно, но среди погибших не было девочки.

— Нет, не видел, — честно ответил Вилхельм, подходя ближе. — Только его. Ратик, назвался. Там не было никакой девочки. Только он, и следы повозки, но повозки я не видел.

На лице волшебницы мелькнула тень разочарования, тревоги, чего-то ещё, слишком быстрого, чтобы успеть понять. Она едва заметно сжала губы. Вилхельм заметил, как её пальцы дрогнули, как она сжала их в кулаки, словно пытаясь подавить эмоцию. Это была не просто тревога о пропавшей девочке — это была личная боль.

— Если найдёшь... береги. — Она развернулась, намереваясь уйти, и уже сделала шаг в сторону леса.

— Постой! Как твоё имя? Чем я могу отплатить? — остановил её Вилхельм, делая шаг вперёд. Он не любил оставаться в долгу, особенно перед теми, кто спас ему жизнь.

Она обернулась, и на мгновение её строгие черты смягчились, в уголках глаз мелькнуло подобие усталой, горькой улыбки.

— Моё имя Серена. А отплатишь, если выживешь. И запомни: мёртвые ходят не просто так. Кто-то их ведёт. И цель — не просто кровь. Это — часть чего-то большего. Того, что я не могу тебе объяснить здесь и сейчас. Но ты сам скоро поймёшь.

Она сделала сложный жест рукой, и пространство вокруг неё заколебалось, воздух заискрился. Следующий миг — и она исчезла, будто её и не было. Лишь тлеющая, дымящаяся трава да смрад горелой плоти напоминали о битве. Вилхельм постоял секунду, глядя на то место, где стояла женщина, и мысленно повторял её имя. Серена. Он запомнил его.

Вилхельм, тяжело дыша, подошёл к валуну. Ратик был без сознания, но дышал ровнее, глубже. Смертельная бледность на лице чуть отступила. Он снова взял его на руки, бережно укутав в плащ. До башни оставалось совсем немного, и теперь он шёл ещё быстрее, боясь, что некромант может вернуться с подкреплением. Ноги его гудели, в боку кололо, но он не останавливался. Он нёс мальчика, как священный долг, и в груди его жила твёрдая решимость: он доведёт его до людей, которые могут помочь.

Часть 7: Стража.

Сторожевая башня Рифтена, одинокая и грозная, возвышалась на небольшом холме, господствуя над перекрёстком трёх дорог. Она была построена в классическом нордском стиле: массивная, круглая, из тёмно-серого, почти чёрного камня, добытого в здешних карьерах. Кладка была грубой, но надёжной — камни подгонялись друг к другу с ювелирной точностью древних мастеров. Узкие бойницы смотрели во все четыре стороны, позволяя лучникам простреливать подступы. Крыша, остроконечная, покрытая тёмной черепицей, была увенчана флюгером в виде дракона, чей хвост давно отвалился от ржавчины. Вокруг башни стоял запах старого камня и смолы, а также — едва уловимый запах пота и железа, который всегда сопровождает военные посты.

У подножия башни, на утрамбованной площадке, уже кипела деятельность. Несколько стражников в доспехах городской стражи Рифтена — кольчуги, поверх которых надеты ламеллярные пластины, шлемы с узкими прорезями для глаз — о чём-то оживлённо спорили, жестикулируя. Один из них, самый молодой, с пушком над верхней губой, точил меч о камень, время от времени поглядывая на дорогу. Другой, грузный, с красным лицом, сидел на бочке и пил воду из фляги, тяжело дыша после подъёма. Увидев Вилхельма с окровавленным ребёнком на руках, они мгновенно насторожились. Руки сами потянулись к рукояткам оружия. Тишина наступила мгновенная, та самая звенящая тишина, когда каждый понимает: случилось нечто ужасное.

— Кто ты такой? Что случилось? — шагнул вперёд стражник, который по-видимому был старшим. Норд с усталым, изрезанным морщинами лицом, сединой в коротко стриженной бороде и красными, воспалёнными от недосыпа глазами. На груди его кирасы, поверх кольчуги, было выгравировано изображение медведя — знак его подразделения. Он говорил резко, но в голосе его слышалась не столько агрессия, сколько тревога.

— Вилхельм. Из Айварстеда, таверна «Вайлмир», — отдышавшись, опустил он мальчика на импровизированные носилки из плащей, которые быстро расстелили двое стражников. — Нашёл его на дороге в таком состоянии. Его имя Ратик, как я понял. На него напали, не знаю кто. И на меня тоже напали. Некромант с оживлёнными мертвецами. Семеро мертвецов, и сам колдун. Я еле отбил, и то — меня спасла одна женщина, маг. Она... ушла.

Слова «некромант» действовали, как ушат ледяной воды. Даже грузный стражник перестал жевать и уставился на Вилхельма расширенными глазами, а молодой парень с мечом чуть не выронил точило. Старший, тот, что с сединой, переспросил, его голос стал тише и опаснее:

— Некромант, говоришь? Мертвецы? Это уже не первый случай за эту неделю. Вчера нашли остатки каравана у восточного тракта. Тоже — мертвецы, и тоже — следы магии. Мы думали, что это бандиты, но...

— Ратик? — он повернулся к раненому мальчику, которого уже осматривал молодой лекарь с тощей козлиной бородкой, одетый в длинный, грязный халат. — Он случайно не сын Балгруфа Торговца? Из семьи, что везла товары в Рифтен из Торговой Имперской Компании?

— Не знаю. Он только имя успел сказать, — ответил Вилхельм, чувствуя, как усталость наваливается на плечи. Он снял шлем, провёл рукой по влажным волосам. — А потом отключился. Я думаю, ему нужна настоящая помощь, а не только перевязка.

— Его семья была убита вчера, — мрачно сказал старший, и его голос дрогнул. Он посмотрел на мальчика, затем перевёл взгляд на Вилхельма. — В трёх часах ходьбы отсюда, ближе к вашему Айварстеду. Вырезаны подчистую. Повозки разграблены. Мы думали, мальчик тоже мёртв... или его угнали эти твари. Но ты его нашёл. Значит, он выжил.

— О Боги! Что творится вокруг? — вздохнул Вилхельм, проведя рукой по лицу, стирая пот и чужую кровь. Он чувствовал, как дрожат его пальцы — не от страха, от перенапряжения. — Сначала Климмек рассказывал про пропажи, про шёпот с озера. Теперь это. Что-то не так в этих землях.

— Ты меня не узнал? — спросил старший стражник, вдруг всматриваясь в лицо Вилхельма. Он прищурился, и в его глазах мелькнуло узнавание. — Я Олаф. Меня несколько лет назад отправляли охранять порядок в Айварстед. Помнишь? Я часто сидел у тебя в таверне, пил эль и жаловался на жизнь.

Вилхельм прищурился. Действительно, смутно знакомое лицо. Тот самый стражник, который вечно сидел в «Вайлмире» с кружкой эля и жаловался на скуку и маленькое жалование. Он изредка патрулировал улицы деревни, но чаще просто спал на сеновале, когда его никто не видел. Он был тогда моложе, с живыми глазами, но теперь... теперь он выглядел старше, уставшим, и в его глазах застыла та самая серая печаль, которую приносит война.

— Олаф, — кивнул Вилхельм, пожимая протянутую руку. — Изменился. Постарел. И, кажется, стал серьёзнее.

— Война меняет, — горько усмехнулся стражник. — Теперь вот командир этой проклятой башни на пересечении дорог. Жалование на несколько монет больше, а проблем — выше крыши, особенно в такие времена. — Он махнул рукой в сторону башни, из окна которой выглядывало ещё несколько стражников. Они тоже смотрели на Вилхельма с любопытством и настороженностью.

В этот момент из-за башни вышел другой стражник, ведя за руку ещё одного ребёнка. Мальчика, лет тринадцати-четырнадцати, имперской внешности: тёмные волосы, смуглая

кожа, карие глаза, полные ужаса. На нём был дорогой, но порванный и испачканный грязью и кровью плащ. Он дрожал мелкой дрожью, и его губы беззвучно шевелились, будто он читал молитву. Рядом с ним шёл молодой стражник, который поддерживал его за плечо.

— Командир, это тот самый, второй, — доложил стражник, козырнув. — Ториксон. Сын имперских купцов из Торговой Имперской Компании, что была атакована на севере, у границы с Морровиндом. Мы нашли его в кустах, он прятался.

Олаф закрыл глаза, на секунду зажмурившись, будто от боли. Он глубоко вздохнул, затем открыл глаза и посмотрел на Вилхельма.

— Двое выживших детей из двух разных купеческих караванов, атакованных в разных концах владения за последнюю неделю, — произнёс он медленно, с расстановкой, как будто сам осознавал чудовищность совпадения. — Один — норд, сын торговца из Рифтена. Второй — имперец, сын представителя Торговой Имперской Компании из Сиродила. Оба мальчика. Оба — из купеческих семей. Оба — выжили случайно.

Он открыл глаза, и в них горело холодное, страшное понимание. Теперь он смотрел не на раненых детей, а на карту, расстеленную у него в голове. Вилхельм видел, как его взгляд стал острым, как у политика, который начинает складывать пазл.

— Это не случайность, — сказал он, и голос его окреп. — Это провокация. Убийство имперских купцов на земле ярла Рифтена... Империя может счесть это актом войны. А убийство наших, нордских, торговцев — посеет панику и гнев здесь, в городе. Кто-то очень хочет, чтобы Рифтен вступил в эту проклятую гражданскую войну. Или взорвался изнутри, сожранный своими же страхами. Я слышал, что в Виндхельме уже поговаривают о том, что имперцы нарочно убивают своих, чтобы создать повод. Но это... это слишком сложно для простых бандитов.

Вилхельм молчал. Интриги и козни. Он ненавидел их даже больше, чем чёрную магию. Они были грязнее, опаснее и коварнее любого некроманта. В интригах убивали не ради удовольствия или силы, а ради холодных схем и расчётов. Его битва была чиста: сталь против стали, жизнь против смерти. А здесь... здесь смерть была лишь кистью в руках художника, рисующего большую, страшную картину, где живые — лишь краски. Он посмотрел на Ториксона, который смотрел в пустоту широко открытыми глазами, не моргая. Мальчик был в шоке, и Вилхельм знал, что такие раны — самые глубокие, они не заживают годами.

— Мне нужно в Рифтен, — наконец сказал он, перебивая затянувшееся молчание. — По своим делам. Мёд забирать, который заказал ещё осенью. Но теперь, видимо, это не только мёд.

— Иди, — кивнул Олаф, возвращаясь к реальности. Он похлопал Вилхельма по плечу, и его ладонь была тяжёлой, как у старого друга. — Но будь осторожен, трактирщик. Тени сгущаются, что-то недоброе грядёт. И, Вилхельм... спасибо за мальчика. Ты спас ему жизнь. Возможно, не только ему.

— На моём месте каждый так бы поступил, — скромно ответил Вилхельм, хотя в глубине души знал, что это неправда. Многие бы прошли мимо, побоявшись замарать руки. Многие бы подумали о себе, о своей безопасности. Но он не мог. Он всегда был таким — он не мог пройти мимо того, кто нуждается в помощи. Это было его проклятие и его дар.

— К великому сожалению, ты ошибаешься, друг мой! — Олаф покачал головой. Он посмотрел на мальчиков, затем снова на Вилхельма. — Кстати, будет у меня к тебе просьба. Раз ты всё равно направляешься в Рифтен, то сопроводи повозку с детьми до города. Я могу выделить только одного стражника, больше никак, — он развёл руками, — людей совсем не хватает. Все разосланы патрулировать окрестности. Я напишу записку для командира городской стражи Рифтена, а ты ему объяснишь при каких обстоятельствах нашёл этого мальчика, который как там его? А, Ратик! И расскажешь про некроманта.

Вилхельм лишь хмыкнул. Отказаться было нельзя. Он взглянул на Ратика, которого уже уносили в башню на носилках, на маленького Ториксона, который стоял, вцепившись в руку

стражника, и смотрел в пустоту широко открытыми, ничего не видящими глазами. Двое детей. Пешки в игре сильных мира сего. Игрушки случая и злой воли. Но он чувствовал, что это не просто игрушки. В них было что-то большее. Что-то, что он пока не мог понять.

— Хорошо, — сказал он. — Только давай быстрее снаряжай повозку. Время к ночи, а дорога неблизкая. В темноте нас всех перережут. Или эти твари снова придут.

— Повозка уже готова, — обрадовался Олаф, словно только этого и ждал. — Сейчас наш лекарь ещё раз осмотрит мальчика, наложит свежие повязки — и в путь. Я дам тебе факел и немного провизии на дорогу.

Пока ждали, Вилхельм поправил перевязь секиры, снял шлем, вытер пот со лба. Нога, задетая кинжалом мертвеца, саднила, но рана была неглубокой, только кожа. Он осмотрел свой доспех — несколько новых царапин, но цел. Вот и первый бой за долгое время. И, судя по всему, далеко не последний. Он смотрел на закат, который уже начинал окрашивать небо в багровые тона, и думал о том, что ждёт его в Рифтене. Город каналов и теней. Город, где, как говорили, можно купить всё, кроме чести. И он, старый воин, трактирщик, отправляется туда не только за мёдом. Он отправляется туда, чтобы защитить этих детей, чтобы понять, что происходит, и, возможно, найти ту женщину с зелёными глазами, которую зовут Серена.

Наконец повозка — простая крестьянская телега, накрытая брезентом, — тронулась. В ней, устроившись на мешках с соломой и сеном, лежали двое мальчиков: Ратик, в глубоком обмороке, и Ториксон, сидящий с ним рядом и сжимающий в кулаке край чужого одеяла. Ехавший с ними стражник — тот самый молодой, с пушкой над губой — нервно сжимал рукоять арбалета и то и дело оглядывался на лес. Он явно был новичком и боялся каждого шороха.

Вилхельм шёл рядом с повозкой, положив руку на рукоять меча. Теперь его путь снова лежал в Рифтен. Город, где в воздухе витал не только запах мёда и жареной рыбы, но и запах заговора, страха и грядущей бури. Он знал, что в Рифтене его ждут не только бочонки с чёрновересковым мёдом. Его ждут вопросы. Его ждут опасности. И, возможно, его ждёт встреча с той, кто спасла ему жизнь.

А позади, над лесами у подножия Глотки Мира, сгущались не просто тучи. Сгущалась тьма, в которой шептались камни курганов, и чьи-то древние, жаждущие глаза медленно открывались в глубине вековой ночи. Весна в Скайрime входила в свою полную силу, принося с юга не только тепло и цветение, но и смерч, которому только предстояло разгуляться, сметая всё на своём пути. Вилхельм чувствовал это каждой клеткой своего тела. Он знал: мир, к которому он привык, рушится. И ему предстоит стать частью того, что вырастет из руин.

И где-то в этом надвигающемся смерче, невидимая, потерянная, брела девятилетняя девочка с вышитыми на платье звёздами, за которой охотились силы, о которых Вилхельм даже не догадывался. Она шла по обочине дороги, босая, в разорванном платье, и её глаза, большие и пустые, смотрели куда-то в сторону леса, где между деревьями, казалось, мелькали тени. Её звали Дарика, и её история только начиналась. Вилхельм ничего не знал о ней. Но судьба уже сплела их нити в один узор, и этот узор был вышит кровью и пламенем.

Глава 1: Дети.

Часть 1: Пробуждение в повозке.

Сознание вернулось к Ратику не резким толчком, а медленной, тягучей волной, как прилив к скалистому берегу после долгого отлива. Сначала он ощутил боль. Не острую, режущую, а тупую, пульсирующую, сосредоточенную где-то в правой части черепа, над ухом. Она то затихала до ноющего фона, то нарастала, заставляя его веки сжиматься ещё сильнее.

Потом пришли звуки. Сначала далёкие, неразборчивые, словно сквозь толщу воды. Затем они обрели чёткость: скрип дерева — монотонный, ритмичный, как дыхание спящего великана. Мерный стук копыт по утрамбованной земле. Тяжёлое дыхание — чьё-то, не его, пре-

рывистое, с хрипотцой. И далёкий, едва уловимый рёв водопада, чьё журчание было похоже на шёпот.

Затем запахи. Этот мир явился ему через нос: влажная шерсть, исходящая от тёплого, живого тела рядом. Пот — солоноватый, резкий. Кровь — сладковатая, металлическая. И что-то сладковато-гнилостное, тошнотворное — запах страха. Свой собственный, исходящий от его одежды и кожи.

Он пытался открыть глаза, но веки казались свинцовыми, словно к ним привязали мешочки с песком. Где-то в глубине памяти, в той части, что была затянута красным туманом, мелькнул образ: женское лицо, красивое, с улыбкой, тёплые руки, поправляющие одеяло... и тут же образ разорвался — крики, звон стали, алый цвет на стенах, чьё-то тяжёлое, горячее тело, падающее на него сверху, обдавая запахом пота и железа, прикрывая его собой.

«Нет», — подумал он, и мысль была ясной, холодной и чужой. Как будто кто-то другой внутри него сказал это слово. Он не хотел вспоминать дальше. Он жаждал забытья, пустоты, но сознание возвращалось, настойчивое и безжалостное.

С третьей попытки глаза подчинились. Ресницы дрогнули, и мир ворвался в них размытыми пятнами. Над ним проплывало небо которое он видел сквозь дыры в старом брезенте. Не то ясное, синее небо, которое бывает в Скайриме ранней весной, а покрытое слоистыми, рваными облаками, похожими на грязную вату. Сквозь их разрывы пробивалось багровое, заходящее весеннее солнце, уже не греющее, а лишь освещающее. Он лежал на спине на чём-то твёрдом и неровном, укрытый грубым, колючим шерстяным одеялом, от которого пахло мышами и плесенью. Сбоку, в нескольких дюймах от него, доносилось чужое дыхание — прерывистое, с всхлипами.

Медленно, преодолевая головокружение, которое поднимало тошноту к горлу, Ратик повернул голову. Каждый градус поворота отдавался новой вспышкой боли. Рядом, прижавшись к нему спиной и, видимо, ища защиты, сидел, сжавшись в комок, другой мальчик. Имперец. Это было видно по цвету кожи — смугловатой, оливковой, не такой грубой и обветренной, как у нордов, и по чертам лица — более тонким, изящным, с правильным, чуть горбатым носом и большими, миндалевидными глазами. Сейчас эти глаза были красными от слёз, но сухими, полными такого отчаяния, что Ратику стало жутко. На имперце был дорогой, но разорванный плащ из тонкой шерсти тёмно-зелёного цвета, расшитый серебряными нитями, и рубаха из белого полотна, вся в грязных пятнах и подтёках крови — не его собственной, судя по обилию, а чужой.

— Ты... кто? — хрипло выдавил из себя Ратик. Его собственный голос показался ему чужим, скрипучим, как несмазанная петля. Горло саднило, язык был сухим и распухшим.

Имперец вздрогнул, словно его ударили. Его взгляд, до этого блуждающий по сторонам, медленно сфокусировался на лице Ратика. В нём промелькнуло узнавание — не личное, а скорее осознание, что он не один. Потом испуг.

— Тор... Ториксон, — прошептал он, едва шевеля губами, и его голос был высоким, детским, срывающимся на фальцет. — А ты... Ратик. Так тебя назвал большой норд, который тебя нёс. Тот, с секирой.

— Большой норд? — Ратик попытался приподняться на локтях. Мир тут же заплясал перед глазами, распадаясь на разноцветные круги. Голова раскалывалась так, что он зажмурился. — Кто... кто я?

Ториксон уставился на него с немим вопросом, его брови сошлись к переносице.

— Ты не знаешь? — переспросил он, и в его голосе прозвучало недоверие, смешанное с новой волной тревоги. Как будто он сам только начал осознавать, насколько всё плохо.

— Нет, — прошептал Ратик, и это признание далось ему с трудом. Больше всего на свете он сейчас хотел бы знать, кто он. Но в голове была не пустота — там был хаос. Обрывки образов, крики, цвет крови. — Помню только имя. Ратик. Больше... ничего не помню.

В глазах имперского мальчика мелькнуло что-то, похожее на понимание. Не сочувствие — они оба были слишком оглушены своими катастрофами для сочувствия. Скорее, признание того факта, что ты не один со своим кошмаром. Рядом есть кто-то, кто пережил что-то похожее.

— Меня тоже... нашли на дороге, — тихо сказал Ториксон, отводя взгляд к брезентовому верху повозки, где сквозь дыру была видна грязно-серая туча. — Мои родители... повозка... кровь везде. Я спрятался в бочке из-под рыбы. Они... они всех... — Он замолк, сглотнув ком в горле. Его кадык, ещё почти не оформившийся, судорожно дёрнулся. — Я сидел в этой бочке и слышал, как они кричат. А потом всё стихло. Я ждал... целую вечность. А потом пришёл этот стражник и вытащил меня.

Ратик посмотрел на свои руки. Они были худыми, с длинными пальцами, покрытые царапинами и ссадинами. Он повернул ладони. На них были мозоли — не от работы с пером, а от физического труда. Но под ногтями... под ногтями засохли тёмные, почти чёрные крупинки. Он быстро сжал пальцы в кулак и спрятал руки под одеяло.

Повозка, на которой они ехали, была грузовой, с низкими деревянными бортами, когда-то покрашенными в синий цвет, но теперь краска облупилась, обнажив серое, потрескавшееся дерево. Дно было устлано прелой соломой, в которой копошились какие-то жучки. Впереди, спиной к ним, на облучке сидел стражник в кольчуге и стальном шлеме с опущенным забралом. Его спина была напряжена, он то и дело поворачивал голову из стороны в сторону, вглядываясь в лес по краям дороги. Он держал в руках поводья упирающегося мула.

Животное было крупным, костистым, с длинными, лохматыми ушами и тусклой, грязно-серой шерстью, в которой запутались репей и солома. Оно нехотя плелось по дороге, опустив голову, иногда останавливаясь, чтобы щипнуть жухлую, прошлогоднюю траву у обочины. Запах от него шёл сильный, молочный и конюшенный, смешанный с запахом пота. Стражник ругался на него глухим, басистым голосом, натягивая поводья, но мул лишь упрямо мотнул головой.

Ратик огляделся дальше. И замер.

Напротив них, у другого борта, прислонившись спиной к деревянной стенке, сидел орк. Вернее, был привязан. Его толстые, мускулистые руки были скручены за спиной толстой, просмоленной верёвкой, глубоко врезавшейся в кожу. Ноги также были стянуты в лодыжках толстой верёвкой, пропущенной между ног, чтобы он не мог их развести. Но даже в этом унизи-тельном, скованном положении он излучал силу. Опасную, примитивную, животную силу, как уронённый, но не добитый медведь, который в любой момент может подняться и разорвать обидчиков в клочья.

Орк был огромен. Даже сидя, сторбившись, он возвышался над мальчиками, его макушка почти касалась брезентового верха повозки. Его кожа — характерного для орков зелёно-серого оттенка, напоминающая оливку, смешанную с грязью, — была вся покрыта шрамами. Старые, побелевшие, тянулись через всю грудь. Новые, розоватые, ещё не зажившие, украшали руки и лицо. Один особенно уродливый шрам, похожий на след от тяжёлого кнута или лезвия, тянулся от правого виска через сломанный и неправильно сросшийся нос к самому углу рта, придавая его лицу постоянное выражение злобной, яростной усмешки. Нижние клыки, огромные, желтоватые, длиной с палец взрослого мужчины, выступали из-под толстых, синюшных губ, пересекаясь, когда он сжимал челюсть. Его чёрные, спутанные, сальные волосы были собраны в десяток грязных косичек, переплетённых костяными бусинами, обломками зубов и мелкими, ржавыми металлическими колечками.

На орке была разношёрстная броня, которая сейчас, в связанном состоянии, перекосилась и натирала. На ногах — поножи от имперской пехоты, старые, с вырванными заклёпками. На груди — нагрудник из ржавой, кое-где пробитой стали, на которой едва угадывался выцветший герб какого-то клана. На плечах — меховые наплечники из шкуры снежного волка, стяну-

тые сыромятными ремнями. От него пахло потом, кровью, старым железом и чем-то звериным, диким — запахом нечеловеческой плоти и мускуса.

Орк не спал. Его маленькие, глубоко посаженные глаза цвета тёмного, мутного янтаря были широко открыты и пристально, без единого моргания, наблюдали за мальчиками. В них не было ни страха, ни злобы, ни жалости. Была холодная, животная оценка. И вызов. Он как будто изучал их, прикидывая, насколько они опасны, насколько вкусны, как долго будут кричать. Он знал, что они его боятся. И это, казалось, доставляло ему мрачное, садистское удовольствие. Из его ноздрей, широких, раздутых, вырывался пар в прохладный воздух.

Ратик почувствовал, как ледяной, липкий страх пробежал по его спине, заставляя волосы на затылке встать дыбом. Он с огромным усилием отвёл взгляд и увидел, что сзади за повозкой, держась на расстоянии нескольких шагов, идёт тот самый «большой норд». Он узнал его — смутные, обрывочные воспоминания о суровом лице, склонившемся над ним, о низком, успокаивающем голосе. Вилхельм — так его назвал орк? Нет, стражник. Вилхельм.

На нём были кожаные доспехи, усиленные стальными пластинами, секира за спиной. Он шёл уверенной, пружинистой походкой воина, готового в любой момент к бою. Его рука лежала на рукояти короткого меча у бедра, большой палец нервно поглаживал навершие. Он не спускал глаз с повозки, особенно с пленного орка, и его взгляд был таким же тяжёлым и оценивающим, как и у орка.

Куда их везут? Кто они такие? Почему орк связан? Вопросы роем кружились в раскалённой голове Ратика, но ответов не было. Только смутный, всепоглощающий страх, от которого сосало под ложечкой, и пустота там, где должна быть память. Пустота, которая почему-то была ещё страшнее, чем если бы он вспомнил что-то ужасное.

Часть 2: Дорога в Рифтен. Лес Шепчущих Теней.

Дорога от сторожевой башни до Рифтена не была ни прямой, ни ровной. Это был старый, забытый легионерами торговый путь, но хорошо известный городской стражи Рифтена, петляющий между холмами, покрытыми густым, колючим кустарником. Тракт был длиннее чем основная дорога до Рифтена, но зато огибал опасные места, возможные места засады, где под покровом ночи на них могли напасть. Тем более среди деревьев, ночи становятся еще более темными, а тут среди скал освещает путь луна и звезды. Они медленно, но верно двигались, оставляя за спиной суровые, обветренные предгорья и погружаясь в царство Рифтена — владения золотых лесов, тёплых озёр, парящих над водой туманов и скрытых, затаившихся опасностей.

Флора здесь кардинально отличалась от айварстедской. Суровые, вечнозелёные хвойные леса, где сосны и ели цеплялись корнями за скалы, постепенно сменялись лиственными. Теперь пространство делили между собой огромные, столетние клёны, дубы и ясени. Их ветви, ещё не покрытые густой, клейкой листвой, а лишь с набухшими, готовыми лопнуть почками, складывались в причудливый, кружевной узор на фоне бледно-голубого неба. Кора дубов была глубоко изрезана, покрыта мхом и лишайниками, напоминая морщинистую кожу древних великанов. Клёны, более стройные и светлые, тянули свои ветви к солнцу, и на их концах уже лопались почки, выпуская маленькие, бледно-зелёные, клейкие листочки.

Подлесок был густым и негостеприимным. Гигантские папоротники, в рост человека, уже развернули свои листья к тому времени, когда путники добрались до подлеска, и под ними царил сырой, тенистый полумрак, в котором водились змеи и землеройки. Заросли чертополоха — сухого, колючего, прошлогоднего — мешали пройти, впиваясь в одежду тысячами мелких игл. Ежевика, ещё не цветущая, но уже выпустившая длинные, гибкие плети, стелилась по земле, цепляясь за колёса повозки. Дикий виноград, его молодые, липкие побеги, вился по стволам деревьев, стремясь к свету. Воздух, ещё пару часов назад прозрачный и холодный, в

котором пахло снегом и камнем, теперь становился тяжёлым, влажным, наполненным запахом прелой, гниющей листвы, цветущих ранних цветов — мелких, белых, пахнущих миндалём, — и чего-то сладкого, приторного. Возможно, это был сок, сочившийся из повреждённых весенними паводками стволов деревьев, смешанный с соком грибов.

Земля под ногами мула была мягкой, болотистой в низинах, чавкала и хлюпала. Повозка то и дело вязла в грязи по самые ступицы колёс. Стражнику приходилось слезать с облучка и, увязнув по колено в чёрной жиже, подталкивать её сзади, обливаясь потом и ругаясь на мула и на свою несчастную судьбу. Вилхельм помогал молча, одной могучей рукой подпирая повозку, другой не выпуская рукояти меча, и его лицо становилось всё мрачнее с каждой минутой.

Фауна была многочисленна, но скрытна, пряталась в глубине леса, наблюдая за непрошеными гостями. В кронах деревьев перекликались невидимые птицы. Ярко-синие, с чёрными «шапочками» сойки, чей крик был похож на скрип несмазанной телеги. Чёрные, блестящие вороны, каркающие хрипло и зловеще, предвестники смерти. Хищные ястребы-тетеревятники, неподвижно сидящие на верхних ветках, высматривающие добычу — мелких грызунов или зазевавшуюся птицу. В чаще мелькали пятнистые шкуры оленей — они замирали при звуке повозки, раздувая ноздри, и, если ветер доносил запах человека, срывались с места, высоко подпрыгивая и исчезая в лесу с удивительной для их размера скоростью. Один или два раза Ратик видел вдали, на старом, трухлявом пне, покрытом зелёным мхом, лисицу. Она сидела неподвижно, сжимая в зубах убитую птицу — тетерева, судя по пёстрым перьям, — и её глаза, жёлтые, с вертикальным зрачком, сверкали из-под рыжей шерсти. Но были и другие, менее утешительные признаки жизни. Крупные, похожие на волчьи, но более широкие и тупые следы, оставленные тяжёлым зверем у ручья, где он пил воду. Медведь, судя по размеру, и не маленький. Ключья тёмной, почти чёрной шерсти на колючем кусте боярышника — слишком густой и жёсткой для оленьей. И тишина. Та самая, настороженная, звенящая тишина, которая наступает, когда в лесу появляется крупный хищник и все живые существа затаиваются, боясь выдать себя.

Примерно через час пути Ториксон, до этого молчаливый и лишь изредка всхлипывавший во сне, тихо, почти не шевеля губами, спросил, обращаясь скорее к самому себе, чем к Ратику:

— Куда нас везут? Мы умрём?

Ратик хотел ответить «не знаю», но его опередил низкий, спокойный, чуть хрипловатый голос Вилхельма. Норд подошёл ближе к повозке, не отрывая глаз от леса, но его уши, казалось, слышали всё, что происходит внутри.

— В Рифтен, — сказал он. — Город за стенами. Там безопаснее. И не умрёте, если будете вести себя тихо и слушаться.

— А... он? — Ториксон, набравшись смелости, кивнул в сторону орка, который снова уставился на него, усмехаясь.

— Он бандит, — коротко бросил Вилхельм. — Нападал на торговые караваны. Его допросят. А может, и повесят. Это уже не наше дело.

Орк, услышав это, издал гортанный, булькающий звук, нечто среднее между хрипом и усмешкой. Он не сказал ни слова, но его взгляд, брошенный на Вилхельма, говорил яснее любых слов: «Попробуй, норд. Посмотрим, кто кого».

— Почему я ничего не помню? — вдруг вырвалось у Ратика. Вопрос повис в воздухе, пропитанном сыростью и страхом, обращённый ко всем и ни к кому.

Вилхельм замедлил шаг, впервые за время пути внимательно посмотрел на мальчика. В его голубых глазах, привыкших к дали и бою, мелькнула не жалость — солдатская жалость к раненым бывает разной. Мелькнуло понимание. Понимание того, что такое удар по голове, что такое провалы в памяти.

— Удар по голове может такое сделать, — сказал он просто, без лишних эмоций. — Память вернётся. Или не вернётся. Бывает по-разному. Но твоё имя ты знаешь. Это уже начало. Завяжи узелок на память и живи дальше.

— А если... если то, что я вспомню, будет хуже, чем незнание? — спросил Ратик, и его голос дрогнул.

На этот вопрос у Вилхельма не нашлось ответа. Он лишь хмыкнул — глухим, гортанным звуком — и снова устремил взгляд на дорогу, вперёд, где между стволами деревьев уже угадывался просвет.

— Скоро будем на месте. — Крикнул стражник вывернув голову назад, потом продолжил уже себе под нос, — лучше пошли прямой дорогой, уже давно бы были в Рифтоне.

Лес вокруг постепенно редел. Стволы деревьев расступались, давая место холмистым лугам. Они стали встречать признаки цивилизации: старые, поваленные временем каменные столбы, отмечавшие когда-то границы чьих-то владений, заросшие крапивой и лопухом. Зброшенные, покосившиеся лачуги с провалившимися, чёрными провалами крыш, в которых заросший паутиной подъём. Попадались и свежие следы — глубокие колеи от повозок, крупных, гружёных товаром, отпечатки копыт лошадей и сапог. Они были уже не одни на этой дороге. Где-то впереди, за поворотом, слышались голоса.

Именно тогда они увидели её.

Часть 3: Дарика. Девочка с глазами тумана.

Сначала это была просто одинокая, неподвижная фигурка, сидящая на обочине дороги на большом, покрытом лишайниками валуне. Небольшая, сгорбленная, она казалась частью пейзажа — ещё одним замшелым камнем. По мере приближения повозки стало ясно — это девочка. Бретонка. Лет девяти, не больше.

Она сидела, обхватив колени тонкими, бледными руками, и смотрела куда-то в пространство перед собой, не мигая. Её взгляд был устремлён не на дорогу, не на приближающихся людей, а внутрь себя, в какую-то бездну, видимую только ей. Её платье — когда-то хорошее, из тонкой, мягкой шерсти, голубого цвета, с вышитыми по подолу и рукавам серебряными звёздами и полумесяцами — было разорвано, испачкано грязью и, как показалось Ратику, кровью. Светлые, почти белые, пепельного оттенка волосы спадали на лицо растрёпанными, грязными прядями, закрывая щёки и лоб. На ногах — простая крестьянская обувь из грубой кожи, стоптанная до дыр, из которых виднелись замотанные в тряпки пальцы.

Когда повозка поравнялась с ней, девочка даже не повернула головы. Она казалась совершенно безучастной, словно вырезанной из тумана, призраком, не имеющим отношения к миру живых.

Стражник, правивший мулом, натянул поводья. Животное остановилось, фыркнув и мотнув головой.

— Эй, девочка! — окликнул стражник, его голос был грубоватым, но не злым. — Ты чего тут одна? Где твои родители?

Никакой реакции. Девочка даже не моргнула. Только ветер шевелил её волосы и подол платья.

Вилхельм подошёл ближе, его движения были медленными, плавными, не угрожающими. Рука, лежавшая на рукояти меча, опустилась. Он присел на корточки перед девочкой, стараясь оказаться на её уровне, и заглянул ей в лицо. Ратик видел, как лицо норда изменилось. Сначала мелькнуло узнавание — он вспомнил, что волшебница Серена искала девочку. Потом — тревога. Глубокая, отцовская тревога.

— Девочка, — сказал Вилхельм тихо, грудным, низким голосом, каким, вероятно, говорил с испуганным животным или потерявшимся ребёнком. — Меня зовут Вилхельм. Тебе нужна помощь? Хочешь есть?

На этот раз она пошевелилась. Медленно, как во сне, повернула голову. Лицо её было бледным, почти прозрачным, худым, с острыми скулами и большими глазами странного, почти прозрачного серо-голубого цвета, напоминающего лёд на озере или туман над болотом. Зрачки были расширены, несмотря на дневной свет. В этих глазах не было страха. Не было печали. Была пустота. Та самая, бездонная, всепоглощающая пустота, которая была знакома Ратику, но у него она была внутри, а у неё — снаружи, отражаясь в каждом взгляде.

— Они все ушли, — прошептала она. Голосок был тонким, звонким, как стеклянный колокольчик, и таким же хрупким. — Она сказала ждать. Я ждала. Они не вернулись.

Вилхельм, не меняя позы, медленно, словно боясь спугнуть, переспросил:

— Кто ушёл, девочка? Кто сказал ждать?

— Она, — так же бесцветно ответила Дарика, и её взгляд на мгновение сфокусировался на лице Вилхельма, но без всякого интереса. — Та, с руками... холодными. Она пришла тогда. Сказала — сиди, жди, я вернусь. Я сижу. Жду. Но уже прошла ночь, а её нет.

— Как тебя зовут? — спросил Вилхельм, меняя тактику.

Мгновение тишины. Девочка как будто припоминала, ворошила что-то в глубине своего сознания.

— Дарика, — наконец ответила она. — Меня зовут Дарика.

— Дарика, — повторил Вилхельм, и его голос стал чуть теплее. — Красивое имя. Дарика, мы идём в Рифтен. Это большой город, с высокими каменными стенами. Там тепло, там есть еда и постель. Там безопасно. Пойдёшь с нами?

Девочка уставилась на него, и в её пустых глазах что-то дрогнуло. Мелькнула тень сомнения. Или надежды? Или просто инстинктивное желание выжить, которое теплится даже в самом разбитом сознании?

— А... а если они вернутся? — спросила она, и в её голосе впервые прозвучала нотка тревоги. — Она сказала ждать. Она придёт. И рассердится, если меня не будет.

— Если они вернутся, они узнают, что ты в Рифтене, — мягко, но настойчиво сказал Вилхельм. — Мы скажем страже у ворот. Им оставят записку. Или мы оставим здесь, на камне, знак. А в городе ты будешь в безопасности, пока они тебя не найдут. Одна в лесу оставаться нельзя, Дарика. Ночью приходят волки. И... другие твари.

Слово «твари» заставило девочку вздрогнуть. Она мелко, как в ознобе, затряслась. Её губы побелели.

— Они всюду, — прошептала она. — Я слышу, как они шепчут. В камнях, в деревьях, в воде. Они зовут меня.

— Мы не дадим им тебя забрать, — пообещал Вилхельм. Он протянул ей свою широкую, шершавую ладонь. — Пойдём, Дарика. Пойдём с нами.

Она посмотрела на его руку. Долго. Словно изучала каждую линию, каждую мозоль, каждую царапину. Потом, наконец, вложила в неё свою маленькую, тонкую, грязную ладошку. Пальцы её были холодными, как лёд, несмотря на относительно тёплый день.

— Я... я пойду с вами, — сказала она, и её голос прозвучал чуть твёрже.

Вилхельм помог ей слезть с валуна. Девочка была лёгкой, как пушинка, почти невесомой. Он посадил её в повозку, устроив на мешке с соломой, рядом с мальчиками. Дарика сразу же сжалась в комок, обхватив колени руками, словно стараясь занять как можно меньше места. Она не смотрела на Ратика или Ториксона. Её взгляд, снова ставший пустым и отрешённым, был прикован к собственным грязным рукам.

Повозка тронулась дальше. Теперь в ней было трое детей и один пленный орк. Воздух стал ещё более напряжённым. Даже мул, казалось, чувствовал тяжесть.

— Ты искал её? — тихо спросил Ратик у Вилхельма, когда тот снова поравнялся с повозкой.

Норд бросил на него быстрый, оценивающий взгляд. В его глазах читалось удивление — мальчик, потерявший память, но сохранивший наблюдательность.

— Нет, — ответил он. — Но одна волшебница... бретонка, такая же, как эта девочка, — он кивнул на Дарику, — искала девочку. Лет девяти. Помогла мне в битве с некромантом. Сказала, что та, кого она ищет, в большой опасности. И что её нужно найти раньше, чем это сделают другие.

— Волшебница? — прошептал Ратик, и в его голосе впервые появился живой интерес, который хоть на мгновение заместил страх. — Настоящая волшебница? С посохом и магией?

— Настоящая, — кивнул Вилхельм. — С огнём в руках и сталью во взгляде. Я таких ещё не видел. Она не из тех, кто показывает фокусы на ярмарках. Она воин. — Он помолчал, обдумывая. — Если это та самая девочка... то опасность, от которой её спасают, явно больше, чем волки или даже медведи. Вот только волшебница говорила, что у той девочки карие глаза. А у этой...

В этот момент орк, до сих пор молчавший, словно каменное изваяние, снова издал свой гортанный, булькающий хрип. На этот раз в нём явственно слышалась насмешка. Глубокая, злобная, всезнающая насмешка. Все в повозке замерли и посмотрели на него. Даже стражник на облучке обернулся.

Орк уставился на Дарику. Его маленькие, свиные глазки сузились, в глубине их мелькнуло что-то. Не страх, нет. Ум. Оценка. Он что-то понял. Что-то, чего не понимали они, что-то такое, о чём Вилхельм даже не догадывался.

Дарика, почувствовав его тяжёлый, маслянистый взгляд, медленно подняла голову. Их глаза встретились. Секунда. Другая.

И тут случилось нечто странное. Орк, этот воплощённый вызов и ярость, эта гора плоти и злобы, вдруг отвёл взгляд. Первым. Быстро, почти по-звериному. Он дёрнул головой, словно его ударили, и уставился в щель между досками повозки. На мгновение в его глазах мелькнуло нечто, совсем не похожее на злобу. Что-то вроде... суеверного страха. Того самого, древнего, уходящего корнями в детство, когда дети боятся темноты и того, что в ней скрывается.

Больше он на неё не смотрел. Ни разу за всю оставшуюся дорогу.

Часть 4: Приближение к городу.

Дорога постепенно спускалась, петляя между холмами, которые становились всё более пологими. Лес поредел окончательно, уступив место широкой, плодородной долине, по которой текли многочисленные ручьи, впадающие в озеро Хонрик.

Воздух становился ещё теплее, влажнее, душнее. Теперь в нём отчётливо пахло пресной водой, рыбой и тиной. Лес, отступивший на несколько сотен шагов к горизонту, теперь был лишь обрамлением, зелёной каймой вокруг огромного, распахнутого неба. Место было холмистым, с пологими спусками к воде, поросшее высокой, сочной травой, в которой уже стрекотали кузнечики, и полевыми цветами. Золотые лютики, яркие, как монеты, устилали склоны сплошным ковром. Синие колокольчики, нежные и хрупкие, прятались в тени высоких стеблей. Алые маки, пламенеющие на солнце, покачивались на тонких стебельках, привлекая шмелей и бабочек. Весна здесь, в этой долине, уже полностью заявила свои права, и природа бушевала, радуясь теплу и свету.

Встречались и обработанные поля, квадраты тёмно-коричневой, вспаханной земли, готовой к посевам. Местные крестьяне, как пояснил стражник, выращивали здесь пшеницу, ячмень, тыквы — огромные, оранжевые шары, которые потом продавали в Рифтен. Местами виднелись фермы — укреплённые, основательные, похожие на маленькие крепости. Дома были

сложены из камня и глины, оштукатурены и побелены известью, крыши крыты соломой — толстым, прочным слоем, который не пропускал влагу. Вокруг домов — заборы из частокола, с заострёнными кольями, для защиты от диких зверей и незваных гостей.

Но и здесь, в казалось бы, идиллической, мирной долине, чувствовалось напряжение. Многие фермы выглядели заброшенными. Окна заколочены досками, двери сорваны с петель, поля — необранными, сухие стебли прошлогодней пшеницы торчали из земли, как щетина мёртвого кабана. На одной из крыш, вместо обычного флага Рифтена — перекрещенные кинжалы на лиловом поле — висел обрывок чёрной ткани, грязной, истрёпанной ветром. Знак траура. Или знак протеста.

— Что здесь произошло? — спросил Ратик, указывая на заброшенную ферму, у ворот которой валялась перевёрнутая телега.

Вилхельм, шедший рядом, хмуро посмотрел по сторонам. Его рука снова легла на рукоять меча.

— Гражданская война, мальчик, — сказал он, и в его голосе прозвучала глубокая, ввевшаяся усталость. — Не все здесь согласны с ярлом Лайлой и её союзом с Империей. Многие симпатизируют Ульффрику Буревестнику и его Братьям Бури. Когда такие разногласия в семье или среди соседей... кто-то уходит. Кто-то бросает хозяйство и бежит в город, под защиту стен. А кто-то берётся за оружие и уходит воевать. — Он кивнул в сторону чёрного флага. — Знак траура. Возможно, по погибшему, который сражался на стороне Буревестника. Возможно, просто по ушедшему, невозвратному миру.

Ториксон при этих словах съёжился ещё больше, вжав голову в плечи, и придвинулся к Дарике, стараясь стать как можно незаметнее. Он был имперцем в земле, где имперцев не все любили. Его одежда, даже грязная и порванная, была дорогой, выдавала его происхождение. Он боялся, что кто-то это заметит.

Тем временем ландшафт снова менялся. Теперь с запада к дороге подступали уже не холмы, а настоящие, открытые болота — обширные, тянущиеся до самого горизонта, покрытые чахлыми, кривыми берёзками и чёрной, мёртвой ольхой. Вода в них была цвета ржавчины или заваренного чая, покрыта ряской и болотной тиной. Над поверхностью стелились клубы ядовитого, зеленовато-жёлтого тумана, который поднимался от прогретой солнцем гнилой жижи. Это были знаменитые рифтенские топи — излюбленное место аргониан, которые умели ходить по зыбкой почве, и рассадник болезней, от которых даже опытные врачи пожимали плечами. Оттуда, с болот, доносилось громкое, раскатистое кваканье гигантских лягушек — размером с собаку, с выпученными глазами и длинными, липкими языками. Слышались странные, щёлкающие звуки — возможно, насекомые, возможно, что-то более опасное. И время от времени в тумане мелькали тени. Большие, нечеловеческие, они проплывали между деревьями, не приближаясь, но и не удаляясь.

— Держись подальше от кромки, — предупредил стражник, правивший мулом, и его голос дрогнул. — Там водятся не только хищные растения, которые могут схватить за ногу, и болотные гады — змеи и ядовитые жабы. Говорят, последнее время там и бандиты прячутся, и хуже того.

— Хуже того? — переспросил Ратик, чувствуя, как по его спине снова побежали мурашки.

Стражник и Вилхельм переглянулись. Взгляд у обоих был мрачным.

— Мертвецы, — коротко сказал Вилхельм. — Свежие трупы, которые поднимаются из болотной жижи. Некроманты любят такие места. Много сырья и уединения. Никто не придёт проверять, что там происходит в глубине тумана.

После этих слов все замолчали. Даже орк перестал издавать свои хриплые, гортанные звуки. Тишина в повозке стала тяжёлой, как болотный воздух.

Наконец, после долгого, изнурительного подъёма на очередной холм, поросший низким, колючим кустарником, они увидели его. Рифтен.

Сначала показались только башни. Высокие, каменные, увенчанные остроконечными, покрытыми тёмной, почти чёрной черепицей крышами. Их было много — дюжина, а то и больше, они торчали из-за стен, как копья, устремлённые в серое небо. Потом стали видны сами стены — массивные, сложенные из грубого, почерневшего от времени и копоти камня, опоясывающие весь город. Кое-где кладка обвалилась, и виднелись новые, свежие заплатки из другого, более светлого камня. Стены казались непреступными, вечными, но в них чувствовалась какая-то болезненная, старческая основательность.

Рифтен стоял на берегу огромного, сверкающего озера Хонрик. Вода, под лучами весеннего солнца, пробивавшимися сквозь облака, переливалась, как расплавленное серебро. Но это была не мирная, сельская гладь. Вода казалась маслянистой, тяжёлой, а у причалов виднелись пятна какой-то радужной плёнки — отходы городской жизни. Город казался огромным, непреступным и чужим.

От подножия холма, на котором они стояли, к главным воротам вела широкая, мощёная крупным, серым булыжником дорога. По ней двигался людской поток: гружёные товаром повозки, нагруженные до самого верха тюками и бочками; всадники в дорожных плащах, чьи кони цокали копытами по камню; пешие торговцы с коробами и лотками; группы паломников в серых мантиях, с посохами в руках и усталыми лицами. Были и легионеры — в имперских доспехах из пластинчатой стали, поверх красных туник, с мечами на поясах. И воины в доспехах городской стражи Рифтена — более лёгких, с копьями и арбалетами.

Над воротами развевалось два флага на высоких шестах. Один — лиловый, с перекрещенными серебряными кинжалами — герб Рифтена и его ярла. Второй — красный, с золотым драконом, расправившим крылья — флаг Империи. Но флаги висели вяло, без того гордого, развевающегося на ветру величия. Они обвисли, как мокрые тряпки, словно и они устали от постоянного напряжения, от войны, которая никогда не объявлялась официально, но от этого не прекращалась.

Самое странное, что Ратик заметил, когда они подъехали ближе, — это дым. Не от печных труб, а чёрный, густой, едкий дым, поднимающийся из-за стен в той части города, которую позже он узнает как «Трущобы». И запах. Резкий, ни с чем не сравнимый запах, который ударил в нос, когда ветер переменился. Смесь запахов: жареной и гниющей рыбы, угольного дыма, человеческих отходов, дешёвого кислого пива, металла от кузниц, кожи от дублен и страха. Того самого, сладковато-горького запаха страха, который исходил от людей, запертых в этих стенах, как в клетке.

Мул, почуявший конец пути и, возможно, кормушку с овсом, вдруг оживился, ускорил шаг, и сам, без понуканий, направился к воротам, к суете и гаму большого города.

Часть 5: Унмид Снегоход. Командир за стенами.

У главных ворот, под наконец-то поймавшими ветер и ожившими флагами, их уже ждала группа людей. В центре стоял норд, которого невозможно было не заметить. Он выделялся даже среди суетливой толпы, как скала среди гальки.

Это был Унмид Снегоход. Вилхельм, увидев его, слегка кивнул — знак уважения, которым обмениваются бывшие воины, узнавшие друг в друге родственную душу.

Унмид был чуть ниже Вилхельма, но компенсировал это такой аурой неукротимой, холодной воли, что казался выше всех, кто стоял рядом. Его волосы — густые, жёсткие, медно-рыжие, как осенняя листва клёна в самом пике цвета — были коротко стрижены, но на висках выбриты узкие, аккуратные полосы, обнажающие загорелую, обветренную кожу. Такие же медно-рыжие, аккуратно подстриженные усы и короткая, густая борода обрамляли рот с тон-

кими, сжатыми губами, придавая лицу выражение постоянной, сосредоточенной строгости. Нос — прямой, с горбинкой, однажды сломанный, что придавало его профилю хищное, птичье выражение. А глаза... глаза были зелёными, как молодая хвоя, и холодными, как лёд на вершине Глотки Мира. В них светился острый, недремлющий ум, привычка к анализу и — усталость. Глубокая, хроническая усталость от бесконечной войны, которую он вёл не только с внешними врагами — вампирами, бандитами, легионами Империи, — но и с глупостью, коррупцией и человеческой подлостью внутри собственных стен.

Но больше всего поражала не его внешность, а доспехи.

Он носил лёгкий эльфийский доспех. Цвета золота, солнца, мёда. Норды в большинстве своём презирали всё эльфийское — считали их хитрыми, слабыми, изнеженными. Но при этом все знали: эльфы куют свои доспехи из лунной руды, которую добывают в своих затерянных пещерах. Сплав этой руды с золотом даёт металл невероятной прочности, лёгкий, как кожа, и твёрдый, как сталь. Для норда, да ещё и командира стражи Рифтена, носить эльфийские доспехи — это был вызов. Вызов нордским традициям, заявление, которое говорило громче любых слов: «Я выбираю эффективность, а не предассудки».

Доспех был лёгким, элегантным и смертоносным. Кираса — из гибкого, чешуйчатого жёлтого металла — плотно облегла торс, подчёркивая мощную грудь и широкие плечи, но не стесняя движений. Застёжки по бокам были выполнены в виде когтей хищной птицы — ястреба или, возможно, орла. Накладные элементы наплечников и высокий, защищающий шею воротник были выкованы в форме расправивших крылья птиц — соколов. Голова этой причудливой птицы образовывала выступающий гребень на груди, её клюв был направлен вниз, словно готовый вонзиться в сердце врага. Бёдра защищали наборные, похожие на птичьи перья пластины из того же металла и тёмной, тиснёной кожи. Поддоспешник, проглядывающий в зазорах, был тёмно-красным, почти бордового цвета — цвета запёкшейся крови. На поясе висели эльфийский меч с изогнутой, эргономичной рукоятью, обмотанной кожей ската, и боевой эльфийский топор из того же жёлтого металла, с широким, полулунным лезвием.

Это был доспех не простого стражника и даже не капитана. Это был доспех военачальника, уверенного в своём мастерстве настолько, что мог позволить себе броню, которую многие норды сочли бы «эльфийской мишурой» и сожгли бы на костре вместе с хозяином. Но глядя на Унмида, ни у кого не возникало сомнений в его боевых качествах. Его осанка, его прямой, не терпящий возражений взгляд, сама манера держаться — расслабленно, но с готовностью — кричали об опасности.

Рядом с ним стояли несколько стражников в парадных доспехах, чистые кольчуги, начищенные шлемы и человек в простой, но дорогой, тёмно-синей одежде — вероятно, чиновник или советник ярла. Унмид выслушал краткий, сбивчивый доклад стражника из их сопровождения, кивнул, и его зелёные глаза, остановились на Вилхельме.

— Трактирщик из Айварстеда, — голос Унмида был низким, хриловатым, с металлическими нотками. Он звучал, как скрип тяжёлой двери в старом форте, открывающейся после долгого затишья. — Добро пожаловать в Рифтен. Спасибо, что довёл повозку. Мы уж думали, что и этот караван пропал.

— Добрый день, хускарл, — ответил Вилхельм, слегка наклонив голову. — Повод был. Не мог бросить детей.

Унмид подошёл к повозке. Его взгляд скользнул по бледным, испуганным лицам мальчиков, на мгновение задержался на пустых, как две монеты, глазах Дарики, и наконец уставился на орка. Тот встретил его взгляд без страха, с тем же животным, вызывающим вызовом, но в глазах орка мелькнуло что-то — искра уважения или, наоборот, ненависти.

— Этот орк был в шайке, напавшей на караван Торговой Имперской Компании? — спросил Унмид, не отводя взгляда от пленника. — Интересно, что он знает. И как его вообще взяли живым.

— Он не говорит, — доложил стражник из их сопровождения, пожимая плечами. — Ни под угрозой, ни под... пытками.

— Орки не болтают, — согласился Унмид. — Но они не камни. У них есть слабости. Страхи. Желания. — Он сделал шаг ближе к повозке, наклонился к орку, так, что они оказались почти лицом к лицу. — Ты служишь тому, кто платит? Или у тебя свой интерес, своя жажда крови? Кто собрал твою шайку? Кто приказал нападать именно на имперские караваны?

Орк молчал. Только его широкие ноздри слегка раздулись, вдыхая запах Унмида, и глаза сузились.

— Ладно, — выпрямился Унмид, отступая. — У нас в подвалах есть время. И специалисты, которые умеют развязывать языки. Он заговорит. Или умрёт.

Он махнул рукой стражникам.

— Отвести пленного в тюрьму. В самую глубокую камеру, подальше от света. К детям приставить лекаря — пусть осмотрят, перевяжут, всыпят отвара от болей. И найти Грелод Добрую или Констанцию Мишель из Благородного сиротского приюта. Пусть заберут их в приют, пока не разберёмся с их родственниками.

Он сделал паузу и повернулся к Вилхельму.

— А ты, трактирщик, задержись. Ко мне в кабинет. Нужно поговорить. И о твоём мёде тоже. У меня есть к тебе дело.

Вилхельм только кивнул. Он был готов к этому разговору. Перед тем как уйти, он обернулся, посмотрел на детей. На Ратика, чьё лицо было белым, как мел, на Ториксона, дрожащего, как осиновый лист, и на Дарику, которая не смотрела ни на кого. Его взгляд, суровый и тёплый одновременно, словно говорил: «Вы в безопасности. Пока что».

Детей сняли с повозки. Пришла пожилая, сухая женщина с злым, усталым лицом — Грелод Добрая. Она осмотрела Ратика с ног до головы с таким выражением, словно оценивала кусок мяса на рынке. Констанция Мишель — молодая, добрая, с заплаканными глазами — перевязала ему голову чистой, белой повязкой, дала выпить горького, вонючего отвара, от которого на языке остался противный привкус. Ториксона и Дарику просто отвели в сторону, укутав в тёплые, серые одеяла, и поставили под охрану стражника, который должен был отвести их в приют.

Ратик стоял, прислонившись спиной к холодной, шершавой каменной стене у ворот, и смотрел, как огромный, чужой город раскрывается перед ним. Шум, гам, крики торговцев, скрип повозок, лязг оружия стражи, запахи... И где-то там, за этими стенами и за этой суетой, должны были быть ответы. Кто он? Что случилось с его семьёй? Почему его спасли, а остальных убили?

Он посмотрел на Ториксона, который стоял, вцепившись в руку стражника, и старался не плакать, но слёзы всё равно текли по его грязным щекам. На Дарику, которая снова уставилась в пустоту, водя пальцем по воздуху, словно рисуя невидимые линии. Они были такими же потерянными, как он. Может быть, даже более потерянными — у них хотя бы была память о том, что они потеряли.

И тут его взгляд упал на орка. Того вели прочь от повозки к боковому, тёмному входу в сторожевую башню у ворот. Толпа расступилась перед ним, как вода перед камнем. И в тот момент, когда орк проходил мимо Ратика, он вдруг повернул голову. Не резко, а медленно, как удав. Их глаза встретились.

И орк... улыбнулся. Широко, демонстративно, обнажая все свои жёлтые клыки, которые в тусклом свете казались ещё длиннее и острее. Это была не улыбка угрозы. Это была улыбка знания. Как будто он говорил: «Я знаю что-то о тебе, мальчик. Я знаю, кем ты был. Я знаю, кто ты сейчас. И я знаю, что ты боишься вспомнить. И то, что ты забыл, ужаснее, чем ты можешь представить».

Потом его увели в темноту подземелья, через чёрный, зияющий дверной проём в городской стене, который тут же захлопнулся за ним, издав глухой, предсмертный стон.

А Ратик остался стоять под огромным, чужим, свинцовым небом Рифтена, с одной только мыслью в своей пустой, но раскалённой от боли голове: «Кто я?»

Но другой, более тихий, ледяной голос внутри него, тот, который появился после того, как он очнулся, после травмы, шептал: «А нужно ли тебе это знать? А что, если то, что ты вспомнишь, уничтожит тебя?»

Глава 2: Город Каналов и Теней.

Часть 1: Утро в Благородном сиротском приюте.

Ратика разбудил не крик петуха и не солнечный луч — в Рифтене петухи не кукарекали из страха быть украденными, а солнечные лучи редко пробивались сквозь вечную дымку над городом. Его разбудил голос — резкий, скрипучий, как несмазанная дверь, — голос Грелод Доброй.

— Подъём, отродья! — кричала она, хлопая в ладоши и проходя между рядов коек. — Солнце уже встало, а вы дрыхнете, как сурки в норе! Живо умываться, живо строиться! Кто опоздает — останется без завтрака!

Ратик сел на кровати, морщась от резкой боли в голове, которая к утру не прошла, а лишь притупилась до ноющего фона. Он огляделся. Вчера, когда их привели в приют, было уже темно, и он не успел рассмотреть помещение как следует.

Благородный сиротский приют Рифтена — само название было насмешкой. Это было не заведение, а тюрьма для детей, облечённая в жалкую пародию на заботу. Здание, когда-то, возможно, бывшее чьим-то просторным особняком, теперь прогибалось под тяжестью запустения, нищеты и отчаяния.

Комната, в которой они спали — общий зал на первом этаже, — была длинной и низкой, с потолком, подпираемым толстыми, почерневшими от времени деревянными балками. Штукатурка на стенах облупилась, обнажая серый, пористый камень, в щелях которого копошились мокрицы и многоножки. Пол был дощатый, скрипучий, с глубокими щелями, из которых тянуло холодом и сыростью из подвала. Вдоль стен, в два яруса, стояли койки — грубо сколоченные из неструганых досок, с продавленными, соломенными матрасами, от которых пахло мышами и мочой. Одежда была тонкими, серыми, с дырами и заплатами. На каждом одеяле, в углу, чьей-то дрожащей рукой было вышито имя — из тех детей, что жили здесь дольше других.

В зале стоял кислый, спёртый запах — запах немых тел, застарелого пота, кислого молока и дешёвого мыла. В углу, у зарешёченного окна, висела ржавая раковина, из которой капала вода — единственный источник воды для умывания. Рядом, на полу, стояло помойное ведро, облепленное мухами.

В комнате находилось около двадцати детей разного возраста — от совсем маленьких, лет пяти, до подростков, почти взрослых. Все они были одеты в одинаковую, мешковатую, серую одежду — когда-то белую, но теперь превратившуюся в грязно-серые тряпки. У всех были худые, бледные лица, тусклые волосы и грустные, усталые глаза, в которых не было детской радости — только привычка к страданию и покорность.

Грелод Добрая стояла в центре зала, оперев руки в бока. Это была сухая, костлявая нордка лет шестидесяти, с лицом, напоминающим печёное яблоко — все в морщинах, с глубокими складками у рта и глаз. Её седые, жидкие волосы были туго стянуты в узел на затылке, открывая бледную, морщинистую шею. Одежда на ней была тёмной, строгой, без единого укра-

шения, и пахло от неё дешёвым мылом и старым потом. Глаза у Грелод были маленькими, колючими, цвета болотной тины — в них не было ни капли доброты. Только холодная, расчётливая жестокость.

Рядом с ней стояла Констанция Мишель — её полная противоположность. Констанция была молодой имперкой лет двадцати пяти, с мягким, округлым лицом, карими, добрыми глазами, в которых всегда светилась грусть, и темно-русыми волосами, собранными в небрежный пучок. Она была одета в простое, но чистое платье из серой шерсти, и от неё пахло хлебом и ромашкой — она, видимо, работала на кухне. Констанция смотрела на детей с сочувствием, но в её глазах была и безысходность — она не могла ничего изменить, она была лишь пешкой в этой системе.

— Новенькие! — крикнула Грелод, и её взгляд упёрся в Ратика, Ториксона и Дарику, стоявших отдельно от остальных. — Выходите в центр! Будем знакомиться!

Дети медленно, нехотя вышли из толпы. Все взгляды обратились на них.

— Ратик, — выкрикнула Грелод, словно ставя клеймо. — Ториксон. Дарика. Запомнили, остальные? — она обвела взглядом зал. — Теперь они будут жить с вами. Работать с вами. И страдать с вами, если нарушат правила. А правила в этом доме простые: слушаться старших, не шуметь, не драться, не воровать. Кто нарушит — получит плетью. Поняли?

Дети молчали. В ответ слышалось лишь редкое покашливание и скрип кроватей.

— Теперь, — продолжила Грелод, — вы, трое, — она указала на новеньких, — будете делать то, что я скажу. Сегодня у вас осмотр. Потом — работа. Мальчики пойдут в порт, разгружать баржи. Девочка — в прачечную. А теперь — строиться во дворе! Живо!

Дети, как по команде, бросились к выходу, толкаясь и пихаясь. Ратик, Ториксон и Дарика оказались в потоке и вышли вслед за всеми во внутренний двор.

Двор был маленьким, замощённым грязным, скользким булыжником. Со всех сторон его окружали высокие, каменные стены, покрытые мхом и плесенью. В углу двора стояли деревянные перекладки — для выбивания одеял. Здесь уже было несколько детей, которые, зевая и растирая глаза, развешивали одеяла на эти перекладки и начинали выбивать их специальными палками.

— Присоединяйтесь, — бросила Констанция, подходя к ним и протягивая каждому по длинной, гладкой палке. — Каждое утро мы выбиваем пыль из одеял. Это чтобы вши не заводились.

Ратик взял палку, подошёл к перекладине, взял своё одеяло — то самое, тонкое, серое, пахнущее мышами — и повесил его на перекладину. Он размахнулся и ударил. Пыль, серая и густая, облаком вырвалась из одеяла, заставляя его закашляться. Рядом Ториксон делал то же самое, его лицо было бледным, под глазами залегли тени — он почти не спал. Дарика стояла чуть поодаль, держа палку в опущенных руках, и смотрела на своё одеяло пустыми, немигающими глазами. Она не ударила ни разу.

— Эй, бретонка! — крикнула одна из девочек постарше, с копной рыжих, спутанных волос. — Ты глухая? Бей!

Дарика медленно повернула голову, посмотрела на говорившую долгим, ничего не выражающим взглядом, потом снова уставилась на одеяло. И замерла.

— Оставьте её, — сказала Констанция, подходя ближе. — Она... не такая, как все. Просто дайте ей время.

Когда дети закончили с выбиванием одеял, вернулись в зал, заправили кровати — насколько это было возможно — и вот наконец наступил долгожданный завтрак. В столовой — ещё одной мрачной, низкой комнате с длинным, грубо сколоченным столом — детей усадили на деревянные скамьи и выдали каждому по деревянной миске и ложке.

Завтрак был скудным: жидкая овсяная каша без масла, без соли, почти без вкуса, и кусок чёрного, чёрствого хлеба. Вода для питья — из бочки во дворе, мутная, с привкусом ржавчины.

Ратик ел медленно, методично, чувствуя, как каждое движение челюстей отдаётся болью в голове. Рядом Ториксон давился кашей, его глаза были на мокром месте. Он жевал, закрыв глаза, словно пытаясь представить, что ест не это, а что-то другое — его домашнюю еду, которой больше никогда не будет. Дарика не ела вовсе. Она сидела, опустив голову, и смотрела на свою миску.

— Кушай, детка, — тихо сказала ей Констанция, садясь рядом. — Силы нужны.

Дарика не ответила. Но через минуту её рука медленно потянулась к ложке.

Не успели дети закончить с завтраком, как в столовой снова появилась Грелод.

— Так, новенькие! — позвала она. — Ратик, Ториксон и Дарика! Ко мне!

Дети медленно встали из-за стола. Остальные продолжали есть, не обращая на них внимания — они привыкли к текучке, к новым лицам, которые появлялись и исчезали, как тени.

— Заканчивайте завтрак и отправляйтесь к главному выходу, — сказала Грелод, скрестив руки на груди. — Там ждите на лавочке. За вами придёт стражник, отведёт вас к их командиру. Он вас поспрашивает о том, что случилось. Отвечайте правду, не врете, иначе будет хуже. А потом вас приведут обратно.

Она повернулась и вышла, оставив после себя запах дешевого мыла и злобы.

Констанция Мишель, которая стояла рядом, потрепала Ториксона по голове. Её пальцы были тёплыми и мягкими.

— Ну что приуныли? — сказала она с вымученной, грустной улыбкой. — Всё будет хорошо. Уже ищут ваших родственников. Может, кто-то найдётся. А сейчас — идите. Не заставляйте стражу ждать.

Дети вышли во двор, сели на лавочку у ворот. Небо над Рифтеном было серым, низким, затянутым тучами, из которых вот-вот должен был пойти дождь. Воздух был сырым, тяжёлым, пахло дождём, гнилью и дымом.

Через несколько минут ворота приюта открылись, и вошли двое стражников в доспехах городской стражи — кольчуги, поверх которых ламеллярные пластины, шлемы закрывающие половину лица. Один снял свой шлем, он был высоким, худым, с землистым лицом и бегающими глазами. Другой — коренастым, широкоплечим, тоже снял шлем, у него лицо было обветренным с седыми усами.

— Это они? — спросил первый, кивнув на детей.

— Они, — ответила Констанция, стоявшая в дверях. — Ведите их аккуратно, сильно не подгоняйте. У мальчика — Ратика — травма головы.

— Ладно, — буркнул второй, коренастый. — Пошли, мелюзга. Не отставать.

Их не повели по главным улицам. Стражники провели детей через боковой проход в стене приюта, мимо груды пустых, грязных бочек, мимо спящего на пороге какой-то лавки пьяного аргонианина, который даже не пошевелился при их приближении. Они вышли в узкий, тёмный переулок, где дома стояли так близко друг к другу, что их стены почти соприкасались, оставляя лишь узкую полоску серого неба над головой.

Отсюда, из этого переулочка, Рифтен предстал перед ними не парадной картинкой, которую показывают приезжим, а своей изнанкой — грязной, страшной и беспощадной.

Город был лабиринтом. Лабиринтом из камня и дерева.

Дома, по большей части двухэтажные, были построены из тёмного, почерневшего от времени и влаги камня — первые этажи, и из такого же почерневшего, старого дерева — вторые этажи. Они жались друг к другу, как испуганные звери, и на некоторых балках второго этажа, казалось, можно было перешагнуть на противоположный дом, не рискуя сорваться вниз. Крыши, покрытые мхом, лишайниками и чахлой, жёлтой травой, проседали посередине, и кое-где виднелись заплатки из досок и промасленной ткани.

Между домами зияли промоины — не улицы в полном смысле, а узкие, извилистые щели, заполненные грязью, мусором, осколками битой посуды и зловонными, маслянистыми лужами,

в которых отражалось серое небо. Вдоль стен бежали открытые сточные каналы, наполненные жидкой, бурой жижей, издававшей тошнотворный запах.

Но самое поразительное было не это. Через весь город, разрезая его надвое, как ножом, тянулся канал. Это было наследие древних, двумеров — или, по крайней мере, так считали местные. Широкий, метров десять в ширину, глубокий, с каменными, облицованными гранитом стенами, он проходил через весь город, от северных ворот до южных, и впадал в озеро Хонрик. Вода в нём была чёрной, маслянистой, почти неподвижной, и по ней плавали обломки досок, дохлые крысы и какие-то бесформенные, разбухшие предметы. Над водой висела густая, зловонная дымка.

Вдоль канала с обеих сторон тянулись набережные — с каменными парапетами, к которым были пришвартованы лодки, баржи и плоты. Здесь же, прямо на набережной, торговали рыбой, углём, лесом и прочим товаром, который доставляли по воде. Запах здесь был особенно сильным — смесь тухлой рыбы, гниющего дерева, сырой кожи и дешёвого мыла.

— Держитесь вместе, — бросил один из стражников, тот, который был коренастым. — И не отставайте. Здесь легко потеряться. Или потерять кошелек, если бы он у вас был.

От этой шутки оба стражника громко, по-бабьи рассмеялись. Дети молчали.

Они шли по верхнему ярусу набережной, вдоль канала. Ратик, преодолевая головокружение, пытался впитать всё — звуки, запахи, лица. Его мозг, лишённый прошлого и потому пустой, как новая тетрадь, жадно хватал новые впечатления, чтобы заполнить эту пустоту.

Запахи. Их было невозможно разделить. Вонь тухлой рыбы с озера смешивалась со сладковатым, приторным душком гниющего дерева, с кислым, уксусным запахом забродившего мёда, доносящимся откуда-то справа, из подвальной пивной. С ароматом дыма из печных труб — но не смолистого, древесного, а какого-то едкого, угольного, пахнущего серой. И над всем этим — плотный, всепроникающий, вездесущий запах отходов жизнедеятельности жителей и животных, смешанный с запахом влажной, преющей тряпки.

Звуки. Не гомон оживлённого, здорового города, который слышал на рынках Вайтрана или в портах Солитьюда, Ториксон. Это была какофония разрозненных, диссонирующих шумов. Где-то вдалеке слышались крики торговцев, но приглушённые, словно из-под воды — их заглушали другие, более близкие звуки. Вот ближе — стук молотка по металлу, звон наковальни, шипение раскалённого железа, опускаемого в воду. Рядом — плач ребёнка за закрытой, заколоченной ставней, глухой, безнадёжный плач, который, казалось, никогда не прекращается. Перебранка двух женщин на непонятном, гортанном диалекте — аргонианки или редгардки, — их голоса были злыми и резкими. И везде — вода. Не журчание, не плеск, как в ручьях Айварстеда, а тихое, мерзкое, настойчивое бульканье в канале, плеск вёсел гребцов, скрип мокрых, засаленных канатов о ржавые, покрытые тиной кольца.

Горожане. Их было не так много на улицах в этот ранний час, и все они казались торопящимися, озабоченными, с опущенными головами, чтобы не встречаться взглядами. Норды. В основном, конечно, норды — светловолосые, светлоглазые, с суровыми, обветренными лицами. Но встречались и другие расы. Темнокожие редгарды в ярких, цветастых одеждах, которые выделялись на общем сером фоне. Бледные, худые бретонцы в тёмных, практичных мантиях. И несколько аргониан — ящерицеподобных разумных рептилий с чешуйчатой кожей, длинными мордами и мутными, выпученными глазами. Они двигались плавно, бесшумно, и их длинные хвосты волочились по мокрой брусчатке.

Одежда горожан была грубой, потрёпанной, залатанной. У многих на лицах застыло выражение хронической, въевшейся усталости, смешанной с подозрительностью. Ни улыбок, ни приветствий. Люди не смотрели друг на друга. Даже стражники, проходя мимо, не здоровались с прохожими — только окидывали их быстрым, оценивающим взглядом и шли дальше. Город жил в состоянии хронической, параноидальной подозрительности. Здесь каждый был за себя.

— Это канал, — сказал один из стражников, только что присоединившийся к ним, молодой норд с прыщавым лицом и редкими, бесцветными усами, заметив, что дети пляшут на чёрную воду. — Так называемый «Большой Канал». Делит город на две части. Эта сторона, где мы сейчас идём, — Сухая сторона. Богатая, — он усмехнулся, и в его усмешке не было ни капли уважения к «богатству». Здесь живут купцы, чиновники, эти... — он кивнул в сторону высоких, каменных зданий с узкими окнами и коваными решётками. — Там, — он махнул рукой на противоположный берег, где дома казались ещё более ветхими, покосившимися, а некоторые и вовсе стояли на сваях прямо над чёрной водой, — Дощатая сторона. Трущобы.

— Если родился там, — добавил другой стражник, коренастый, — и не выбрался оттуда к двадцати годам, то там и кончишь. Чаще всего так и происходит. Бедность там — как болото. Засасывает.

Ториксон, шедший рядом с Ратиком и державший его за руку, вдруг сильнее сжал его руку. Его пальцы были ледяными и влажными.

— Здесь страшно, — прошептал он, и его голос дрожал.

— Тише, — сказал Ратик, хотя сам думал то же самое. В его голове пульсировала боль, а в душе разрасталась тревога. Этот город давил на него своей тяжестью, своей безысходностью. Он был как гигантская, каменная клетка, в которой заперты тысячи людей.

Дарика шла в полном молчании, её прозрачные, серо-голубые глаза скользили по окружающему миру, не задерживаясь ни на чём. Казалось, она не здесь. Казалось, она где-то далеко — в своём собственном мире, быть может, в том, где её просила ждать та, которую она называла «Она». Иногда её губы чуть шевелились, и она произносила что-то беззвучно — слова на незнакомом языке, похожие на шёпот ветра или журчание ручья.

Они свернули с набережной канала в узкую, тёмную арку между двумя домами, над которой висела ржавая, скрипучая вывеска с изображением рыбы. Арка вела на небольшую, мощеную крупным, серым булыжником площадь.

Здесь было чуть оживлённее. В центре площади стоял каменный фонтан, изображавший раскрытую пасть огромной рыбы, из которой тонкой струйкой сочилась ржавая, мутная вода. Вода стекала в чашу, покрытую зелёными водорослями и тиной, и издавала кислый, болотный запах.

Вокруг фонтана располагались лавки и мастерские. Прямо перед ними, в открытой кузнице, краснолицый норд с плечами, как у быка, и мощными, покрытыми сажей руками, орудовал молотом, выковывая подкову на раскалённом, дышащем жаром горне. Рядом с кузницей, под навесом, женщина-редгард в грязном, засаленном переднике продавала куски мяса. Она рубила топором баранью тушу, и над её лотком кружились жирные, зелёные мухи. Чуть дальше, на раскладном столике, старый, морщинистый альтмер или как их еще называют высокие эльфы в черной мантии раскладывал какие-то поблёскивающие безделушки — амулеты, кольца, бусы, судя по всему, поддельные, но красивые.

Но главное, что сразу привлекло внимание Ратика, было здание в центре площади.

Это был не дом, а, скорее, большая, открытая беседка с массивными, каменными колоннами, увитыми увядшими, сухими лозами винограда. Под её крышей, на низком, каменном постаменте, стояла статуя женщины в струящихся, ниспадающих одеждах. Её лицо было прекрасным и печальным, с добрыми, скорбными глазами. В одной руке она держала цветок лотоса, в другой — раскрытую книгу. У её подножия, на каменных ступенях, лежали увядшие, засохшие цветы и несколько почерневших от времени серебряных монет.

— Храм Мары, — пояснил молодой, прыщавый стражник, заметив, что дети засмотрелись на статую. — Богини любви. Здесь венчаются. И молятся о тех, кого потеряли. Многие приходят — после войны, после эпидемий... — он вздохнул и отвернулся.

Ратик почувствовал странный, неожиданный толчок в груди. Статуя казалась ему знакомой. Даже не сама статуя, а чувство, которое она вызывала. Тёплое, щемящее, почти забытое

чувство, которое тут же поглотила пустота, затянулась, как рана, покрытая коркой. Он хотел подойти ближе, рассмотреть лицо богини, но стражники уже двинулись дальше.

Они пересекли площадь, обошли фонтан и вышли к другому каналу — поменьше, уже, чем Большой. Здесь мост был не каменным, а деревянным, с шаткими, скрипучими перилами, покрытыми мхом и плесенью. Посреди моста, в полной неподвижности, опершись на перила, стояла женщина.

Часть 2: Ануриэль. Ледяная управительница.

Женщина на мосту была не норд. Это было заметно сразу — по осанке, по тонким, изящным чертам лица, по странной, неестественной для человека красоте. Высокая, стройная, с кожей цвета старого, выбеленного солнцем пергамента, она стояла, опершись о деревянные перила, и смотрела в мутную, маслянистую воду канала. Её длинные, серебристо-белые волосы, заплетённые в тугую, сложную косу на затылке, были уложены так, что напоминали корону. Ни один волосок не выбивался из этой причёски.

Она была босмерка. Лесная эльфийка. Или, как они сами себя величали — «народ леса».

Её лицо было прекрасным — с идеальными, правильными пропорциями, высокими скулами, прямым, тонким носом и чуть заострённым подбородком, остроконечные уши зеркально друг другу одинаковые. Но в этой красоте не было тепла. Оно было холодным, как мраморная статуя, и совершенно бесстрастным. Глаза, миндалевидные, ярко-голубые, как лёд высокогорных озёр, смотрели на мир без капли сочувствия, без интереса, без любопытства. В них была лишь привычная, усталая оценка.

Она была одета просто, но безукоризненно. Тёмно-зелёное платье из тонкой, мягкой шерсти, плотно облегавшее фигуру, без единого украшения, кроме серебряной броши на воротнике в виде листа. Поверх платья был накинут длинный плащ из такой же шерсти, но более тёмного, почти чёрного оттенка, подбитый мехом домашнего кролика. На поясе, поверх плаща, висели не меч и не кинжал, а небольшой, изящный кошель из тиснёной кожи и связка ключей на железном кольце — ключей от городских ворот, от казначейства, от темниц.

От неё исходил тонкий, едва уловимый запах — смесь лаванды, старой бумаги и... металла. Холодного, чистого металла.

Стражники, сопровождавшие детей, остановились в нескольких шагах от неё и синхронно, почтительно, но без раболепия, склонили головы. Не то чтобы поклон — скорее, знак уважения, который оказывают вышестоящему офицеру.

— Госпожа Ануриэль, — доложил стражник с лицом, осыпанным прищами, его голос звучал тише и суше, чем обычно. — Вот те дети, которых недавно доставили в Рифтен. Те, что выжили после нападений на торговые караваны. Двое мальчиков и одна девочка.

Ануриэль медленно, словно нехотя, повернулась к ним. Её взгляд скользнул по лицам детей — сначала по Ратику, задержавшись на его повязке, на бледном, осунувшемся лице, затем по Ториксону, оценив его имперские черты, дорогую, но грязную одежду и наконец — по Дарике. На лице девочки взгляд Ануриэль задержался дольше всего. В её ледяных глазах мелькнуло что-то... не удивление, нет. Скорее, узнавание. Или, может быть, опасение.

— Так, — произнесла она, и её голос зазвучал. Он был мелодичным, как звон хрустальных колокольчиков, но в нём не было ни капли тепла. Это был голос командира, привыкшего приказывать и не привыкшего выслушивать возражения. — Норд, имперец, бретонка. Потеряшки. Проблемы в миниатюре. Благородный сиротский приют, наверное, уже рад новым постояльцам — дармовые рабочие руки. Что ж, тем хуже для них. — Она вздохнула, и в этом вздохе сквозила усталость от постоянных, однообразных проблем. — Следуйте за мной. Не отставайте. И не задавайте лишних вопросов.

Она развернулась и пошла по мосту быстрым, лёгким шагом. Её плащ развевался на ветру, как тёмное знамя. Дети, подталкиваемые стражниками, последовали за ней. Под мостом, в чёрной воде канала, что-то тяжело плеснуло — большая рыба или, может быть, крыса.

— Кто она? — шёпотом спросил Ториксон у молодого, прыщавого стражника, который шёл рядом с ними. Голос мальчика дрожал.

Тот наклонился ниже, почти касаясь губами уха юног имперца, и прошептал так же тихо, стараясь, чтобы Ануриэль не услышала:

— Ануриэль. Управительница ярла Рифтена, Лайлы Руки Закона. Босмерка. Лесная эльфийка. Некоторые говорят, она из Талмора — из тех, кто приехал следить за порядком. Другие — что она просто очень умная и очень беспощадная. Она управляет всем городским хозяйством — от налогов до городских стоков. И, между нами, — он оглянулся по сторонам, — она знает о том, что происходит в Рифтене, больше, чем сама ярл. Гораздо больше.

Они шли теперь по Сухой стороне. Здесь улицы были чуть шире, дома — чуть выше и богаче, с резными наличниками на окнах, с черепичными, а не соломенными крышами. Кое-где на окнах даже висели занавески — простые, ситцевые, но это уже было признаком достатка. Встречались и лавки: ювелирная, за решёткой которой тускло поблёскивали серебряные и медные украшения; оружейная, где женщина-нордка с лицом, похожим на смятый пергамент, натирала маслом стальные клинки; лавка мясника, от которой тянуло кровью, специями и гнилью.

Но общее ощущение упадка, запустения и сырости никуда не исчезло. Даже на «богатой» стороне стены были покрыты мхом и плесенью, булыжник мостовой местами провалился, образуя лужи стоячей воды, а из открытых окон доносились не звуки музыки и смеха, а ссоры, плач детей и кашель.

Наконец, Ануриэль остановилась у неприметной двери в длинном, двухэтажном здании из тёмного, почти чёрного дерева. На двери не было ни вывески, ни номера — только едва заметный, вырезанный в дереве знак: раскрытая книга. Никто не знал, что это значит — возможно, эмблема приюта, возможно, знак для «своих». Ануриэль достала из связки ключей один, самый большой, железный, вставила его в замок и с усилием повернула. Раздался глухой, металлический щелчок. Дверь со скрипом, жалобно, отворилась.

— Внутрь, — коротко бросила она, пропуская детей вперёд.

Внутри пахло капустой, щёлоком, невымытыми телами и... старым, кислым молоком. Это был длинный, узкий зал с низким, нависающим потолком, подпираемым массивными, деревянными балками, почерневшими от копоти и времени. Вдоль стен, в два яруса, стояли койки — примерно столько же, сколько и в зале Благородного сиротского приюта, но здесь они были ещё более убогими: с продавленными матрасами, из которых торчала солома, и рванными, грязными одеялами. Окна были маленькими, затянутыми мутной, грязной плёнкой, сквозь которую почти не проникал свет.

В дальнем конце зала, напротив входа, горел камин — большой, сложенный из грубого, неотёсанного камня. Огонь в нём был жидким, чадающим, дым не весь уходил в трубу и стекался по потолку, заставляя глаза слезиться. Перед камином, на низкой скамье, сидела пожилая женщина и что-то вязала — серый, бесформенный комок, скорее всего, очередное одеяло.

В зале находилось с десяток детей разного возраста — от совсем маленьких, лет пяти, которые сидели на полу и беззвучно пускали слюни, играя с деревяшками, до подростков лет тринадцати-четырнадцати, которые стояли у своих коек, сложив руки за спиной. Все они были одеты в одинаковую, серую, мешковатую одежду, все были худыми, бледными, с тусклыми, лишёнными жизни глазами. Когда Ануриэль и стражники вошли, дети подняли на них глаза — но ни удивления, ни интереса, ни страха в этих взглядах не было. Только привычная, устоявшаяся апатия.

— Это товарное хранение, — сказала Ануриэль, и в её голосе прозвучала такая ледяная насмешка, что Ратику захотелось съёжиться. — Здесь вы будете есть, спать и работать, пока не определится ваша судьба. Завтра вас осмотрит лекарь — не волнуйтесь, он не кусается, он только проверяет, нет ли у вас заразных болезней. После завтрака вас распределят по рабочим группам. Правила просты: подъём на рассвете, беспрекословное послушание, тяжёлый труд. Побег караются поркой плетью и сокращением пайка — на хлеб и воду. Все понятно?

Дети молчали. Ратик сжал кулаки. Ториксон заплакал — бесшумно, только слёзы текли по его щекам. Дарика смотрела в пол.

— Работать будете по семь дней, — Ануриэль усмехнулась. — Это для того, чтобы вы тут не загнулись от работы, поэтому будете на семь дней отправляться обратно в Благородный сиротский приют, — она сделала паузу, потом с издевкой в голосе продолжила, — отдыхать!

— А... а если мы кого-то помним? — вдруг спросил Ратик, заставив себя говорить. Его голос звучал хрипло, но твёрдо. — Если за нами придут? Если у нас есть родственники?

Ануриэль повернула к нему голову — медленно, как сова. Её ледяные глаза впились в его лицо, и Ратику показалось, что она видит его насквозь — видит его пустоту, его страх, его отчаянную попытку уцепиться за надежду.

— Если придут с документами и доказательствами родства — прекрасно, — сказала она, и её голос стал ещё холоднее. — Но, судя по твоей голове, мальчик, ты сам себя не помнишь. Шансы найти твоих родственников невелики. Смирись. Рифтен не любит лишних ртов. Вы должны будете отрабатывать свой хлеб. И свой кров. И каждый глоток воды, который вы выпьете.

Она кивнула в сторону пожилой женщины, сидевшей у камина.

— Гретхен, вот твои новые подопечные. Обустрой их. Мальчиков — в общий зал. Девочку — в женское крыло. И проследи, чтобы они не затеяли никаких глупостей.

И, не сказав больше ни слова, не попрощавшись, Ануриэль вышла. Дверь за ней захлопнулась с глухим, предсмертным стоном, и щёлкнул замок. Звук этот отозвался в Ратике глухим, тяжёлым ударом в груди.

Часть 3: Гретхен. Надзирательница.

Гретхен, надзирательница, отложила вязание. Это была женщина лет пятидесяти, с круглым, морщинистым, когда-то, возможно, добрым лицом, но теперь эти морщины превратились в глубокие, горькие складки, придававшие её лицу выражение перманентной, безнадёжной усталости. Её седые, жидкие волосы были собраны в пучок на затылке — такой же, как у Грелод, но без той злобы, что была у «надзирательницы» Благородного сиротского приюта. Глаза у Гретхен были серыми, выцветшими, с красными прожилками — от недосыпа и, возможно, от дешёвого пойла, которым она спасалась от тоски.

Она была одета в потрёпанное, застиранное платье из грубой, домотканой шерсти, поверх которого был надет засаленный, кожаный фартук. От неё пахло капустой, потом и дымом из камина.

— Ладно, новички, — сказала она, и её голос, в отличие от голоса Ануриэль, был не ледяным, а просто — уставшим. — Подойдите. Имена.

Они представились.

— Ратик. — Первым отозвался Ратик.

— Ториксон и Дарика. — Представился Ториксон за себя и Дарику.

Гретхен кивнула, запоминая.

— Ратик, Ториксон, Дарика. Запомнила. Теперь слушайте. Подъём — в пять утра, по колоколу. Умыться у колодца во дворе — вода ледяная, но привыкнете. Завтрак — похлёбка из капусты и брюквы и кусок хлеба. Потом — работа. Мальчики, скорее всего, на разгрузку

барж у канала или на чистку рыбы на Дощатой стороне. Девочка — в прачечную или на кухню. Ужин — в девять вечера. Отбой — в десять. Драки, воровство, непослушание, ругань, лень — наказание. Ясно?

Они молча кивнули.

— И, возможно, через недельку-другую вас сменят и отведут обратно в Благородный сиротский приют, — добавила Гретхен с какой-то странной, неопределённой интонацией. — А сейчас выбирайте свободные койки. Одежду получите завтра — ту, что на вас, придётся сжечь. Вшивые, наверняка. И вши заведутся у других.

Она махнула рукой, давая понять, что разговор окончен, и снова принялась за вязание. Спицы в её руках двигались механически, быстро — она, видимо, вязала во сне.

Ратик, Ториксон и Дарика стояли посреди зала, чувствуя на себе тяжёлые, равнодушные взгляды других детей. Они были чужаками, пришедшими из другого мира — мира, где были родители, дома, еда, игрушки, тепло. Теперь им предстояло выживать здесь. В этом городе каналов, теней и сломанных судеб.

Ториксон первый сдался. Он подошёл к ближайшей свободной нижней койке, стоявшей в ряду у стены, сел на неё — матрас жалобно скрипнул, продавившись под его лёгким весом — и закрыл лицо руками. Его плечи тихо, судорожно затряслись. Он плакал беззвучно, чтобы не привлекать внимания.

Дарика просто стояла посреди зала, глядя в пол. Её лицо было бесстрастным, но в глазах, в глубине, что-то происходило. Какая-то работа, неведомая никому. Она шевелила губами, произнося беззвучные слова, и её пальцы, тонкие, бледные, бессознательно чертили в воздухе какие-то узоры.

Ратик же почувствовал в груди не страх — а холодный, ясный, как горный ручей, гнев. Нет. Так не пойдёт. Он не будет просто ребёнком-рабом в этом вонючем, прогнившем месте. Он не даст Гретхен, Грелод и всей этой системе сломать себя. Он что-то помнил. Слово. Довакин. Оно ничего не значило, но это была зацепка. Его зацепка. И он найдёт ответы. Даже если для этого ему придётся копать в этом городе, перерывать каждую вонючую канаву, каждую трущобу.

Он подошёл к койке рядом с Ториксоном и сел, положив руку на плечо плачущего друга. — Всё будет хорошо, — сказал он тихо, но твёрдо. — Мы выберемся. Я обещаю.

Ториксон поднял на него заплаканные, красные глаза. В его взгляде была надежда — слабая, но всё же живая.

— Правда? — прошептал он.

— Правда, — ответил Ратик, хотя сам в это не верил. Но он должен был сказать это. Для Ториксона. Для себя.

Он лёг на койку, положив голову на подушку — тонкую, соломенную, пахнущую мышами и плесенью. Голова болела — рана ныла, пульсировала. Но теперь в ней, на фоне этой тупой, утомительной боли, горела новая мысль: «Кто я?» — превратилось в «Я узнаю, кто я. И почему они хотят, чтобы я это забыл».

Где-то над ними, в своих каменных, сырых палатах Миствейла, ярл Лайла Рука Закона, вероятно, решала, как удержать власть в городе, который трещит по швам. А в поместье «Чёрный Вереск» Мавен Чёрный Вереск, королева преступного мира Рифтена, подсчитывала барыши, отдавала приказы и плела свою бесконечную, липкую паутину. Им не было дела до трёх потерянных детей.

Но именно с этих детей, с их тихой ярости, с их безмолвных вопросов, с их отчаянной борьбы за жизнь, начиналась новая история. История, которая, сама того не ведая, была связана с древними пророчествами, с драконами, возвращающимися в мир, и с судьбой всего Скайрима. А пока что им предстояло пережить первую ночь на товарном складе — холодную, тёмную, полную незнакомых, пугающих звуков.

Глава 3: Год в Клетке.

Часть 1: На грани выживания.

Год в Благородном сиротском приюте Рифтена не научил Ратика смирению. Он закалил в нём тихую, холодную, как зимняя сталь, ярость, которая копилась, как вода за ржавой, ветхой плотиной, искала малейшую трещину, чтобы прорваться наружу и смыть всё на своём пути.

Приют был не заведением, а консервной банкой, где детские души медленно портились и гнили в рассоле из побоев, голода, унижений и бесконечного, изматывающего труда. Грелод Добрая, чьё имя звучало самой злой насмешкой во всём Рифтене, сдавала детей в аренду на работы в порт, на Дощатую сторону, на лесопилку и в мастерские — и забирала себе плату, оставляя лишь крохи на детей, чтобы они не умерли с голоду и могли работать дальше.

Здание приюта, когда-то, возможно, бывшее чьим-то просторным, светлым особняком, теперь прогибалось под тяжестью отчаяния, нищеты и безысходности. Стены первого этажа были сложены из тёмного, пористого камня, который вечно был влажным и покрытым холодным потом. Второй этаж — из почерневшего, потрескавшегося дерева — нависал над первым, создавая ощущение, что дом вот-вот рухнет. Окна были узкими, с толстыми железными решётками, за которыми даже в солнечный день царил сумрак. Стёкла — мутные, грязные, сквозь них почти ничего не было видно, кроме серого неба и куска городской стены.

Внутри, в общем зале-спальне, где жили мальчики, девочек держали отдельно в женском крыле, воздух был густым, спёртым, пропитанным запахами немых тел, кислого молока, застарелого пота, мокрой шерсти и страха. Того самого сладковато-горького запаха страха, который исходил от каждого ребёнка, каждого матраса, каждого угла.

Правителем этого маленького ада была Грелод Добрая. Она появлялась в зале несколько раз в день — чтобы проверить, все ли на месте, чтобы выдать наказание, чтобы просто напомнить о своём присутствии. Это была сухая, костлявая, как жердь, нордка лет шестидесяти, с лицом, напоминающим сморщенное, зимнее яблоко — все в глубоких морщинах, складках и пигментных пятнах. Её седые, жидкие, вечно спутанные волосы были всегда туго стянуты в шишку на затылке, что делало её профиль ещё более хищным, птичьим. Подбородок, острый и выдающийся вперёд, придавал ей сходство с грифом. Она носила простое, тёмное, вечно засаленное платье, с которого постоянно пахло дешёвым мылом, табаком и злобой.

Её методы воспитания были просты, как удар дубиной: палка, голод и изоляция. За малейшую провинность — опоздание на утреннюю переключку, необранную постель, недостаточно чисто вымытый пол, лишнее слово, поднятый взгляд — следовало наказание. Порка плетью, сплетённой из толстых, кожаных ремней, от которой на коже оставались сине-багровые рубцы на неделю. Лишение ужина — и тогда приходилось ложиться спать с урчащим, пустым желудком, прислушиваясь к тому, как соседние дети жуют свой чёрствый хлеб. Или худшее — ночь в «тихом шкафу».

«Тихий шкаф» — так назывался узкий, тёмный, как могила, чулан под лестницей, ведущей на второй этаж. Там нельзя было ни сесть, ни лечь, ни даже прислониться к стене — только стоять, согнувшись в три погибели, упираясь лбом и коленями в скрипучие, холодные доски. В щелях шкафа копошились мокрицы и многоножки, иногда выползали крысы. Там было темно, холодно и страшно — особенно страшно. Дети, проводившие ночь в «тихом шкафу», выходили оттуда с красными, опухшими глазами, с трясущимися руками и с таким выражением лица, как будто они видели смерть.

Почти все дети боялись Грелод. Все, кроме одного человека — её помощницы, Констанции Мишель.

Констанция была полной противоположностью Грелод. Имперка лет двадцати пяти, с мягким, округлым лицом, усталыми, но добрыми карими глазами, в которых всегда светилась грусть — не за себя, за детей. Её темно-русые волосы были собраны в небрежный, но симпатичный пучок на затылке, и из него вечно выбивались непослушные пряди. Она была одета в простое, чистое, но вечно застиранное платье из серой шерсти, и от неё пахло хлебом, ромашкой и свежестью — как от оазиса в пустыне.

Констанция была той, кто тайком, когда Грелод уходила в «Пчелу и Жало» пропивать своё скудное жалование, подкладывала в карманы детей кусочки хлеба, сухари, яблоки. Тем, кто перевязывала ссадины и синяки, промывала раны, утешала плачущих. Тем, кто рассказывала сказки тихим, ласковым голосом, убаюкивая детей, укладывая их спать. Она была единственным островком человечности в этом море жестокости, безразличия и отчаяния.

— Она не всегда была такой, — как-то шепнула Констанция Ратику, когда перевязывала его руку, рассечённую осколком разбитого кувшина, который он мыл. — Она стара. Она сама выросла в таком же приюте, в Виндхельме, во время Войны с Талмором. Она не знает другой жизни. Она думает, что делает вас сильнее, готовит к суровому миру.

— Она делает нас злее, — сквозь зубы процедил Ратик, не отводя взгляда от грязного, скрипучего пола. — И пустее. Она вынимает из нас душу.

Констанция вздохнула, и в этом вздохе была вся её беспомощность.

— Держись, Ратик, — сказала она, туже затягивая узел бинта. — Держись ради своих друзей. Ради тех, кто рядом.

Друзья. Это было единственное, что делало жизнь в этом аду выносимой. Ториксон, Дарика и он сам стали неразлучным трио, «тремя друзьями из трущоб», как в шутку называл их Ториксон в те редкие минуты, когда мог шутить. Их дружба родилась не из общих интересов, не из игр, не из учёбы — а из общей беды, из общей боли, из общего врага. Они были щитом друг для друга, плечом, на которое можно опереться в темноте.

Часть 2: Братство Потерянных.

Ториксон за год изменился меньше всех внешне — он всё так же был худым, бледным, с тёмными, печальными глазами. Но внутри него произошла настоящая революция. Испуганный, забитый имперский мальчик, дрожавший при каждом резком звуке, превратился в хитроумного, тихого, расчётливого стратега. Его главным оружием стал ум — острый, гибкий, цепкий.

Он много читал. В приюте, конечно, книг не было, но Констанция, рискуя навлечь на себя гнев Грелод, приносила ему старые, истрёпанные, пахнущие пылью и плесенью книги из храма Мары — истории о древних героях, о географических открытиях, о законах Империи. Ториксон читал их запоем, по ночам, при свете огарка свечи, который он выменивал у старших мальчишек на свой хлеб. Он запоминал всё — распорядок дня Грелод, график патрулей стражи у ворот приюта, привычки слуг, расположение комнат, слабые места в запорах и замках. Именно он придумывал планы побегов — один за другим, каждый хитрее предыдущего.

Первый план был наивным, почти детским — просто выскользнуть ночью через окно уборной, которое выходило в узкий переулок, и бежать. Их поймали через два часа у самых городских ворот — голодных, замёрзших, промокших под дождём и перепуганных до полусмерти. Грелод устроила показательную порку на глазах у всех детей. Ратик получил десять ударов плетью — по голой спине, в присутствии всех. Ториксон — пять. Дарику, как девочку, «помиловали» — но заперли в «тихом шкафу» на целые сутки. Когда её вытащили оттуда, она не плакала. Она не проронила ни слова. Но её глаза стали ещё пустее, чем прежде.

Второй план был хитрее. Ториксон подметил, что раз в неделю, по средам, в приют привозили дрова из имения ярла. Повозка с слугой-аргонианином по имени Грум заезжала во

двор, стояла там минут двадцать-тридцать, пока дети сгружали дрова в сарай. План состоял в том, чтобы спрятаться под холстиной, которой была накрыта пустая повозка, и уехать вместе с ней. Они почти преуспели. Но Грум, садясь на облучок, почувствовал лишнюю тяжесть — повозка скрипнула громче обычного — и заглянул под брезент аргонианин обнаружил детей. На этот раз наказание было ещё суровее: неделя на хлебе и воде, самая тяжёлая, грязная работа — чистка выгребных ям, отстойников и сточных канав за приютом. Запах с них не выветривался потом несколько дней.

Третьего плана не было. После второго провала Грелод ужесточила режим до предела. Окна на ночь стали закрывать на тяжёлые, железные засовы. Двор стал патрулироваться не только стражником у ворот, но и слугой-аргонианином Грумом — молчаливым, злобным, с жёлтыми, немигающими глазами. Грум, казалось, никогда не спал. Он появлялся из тени, шурша чешуёй, и бесшумно волоча хвост по земле. Дети боялись его даже больше, чем Грелод.

Дарика за год почти не заговорила. Но её молчание стало другим. Оно перестало быть пустым, как провал в памяти. Оно стало глубоким, как озеро Хонрик, и таким же тёмным, таящим в своих глубинах неведомые, опасные тайны. Её странная отстранённость, её безучастность к окружающему теперь казалась не безумием и не следствием травмы, а какой-то иной формой восприятия — как будто она видела мир иначе, чем другие люди, и слышала то, чего не слышали они.

Она могла часами сидеть на своей койке, поджав под себя ноги, уставившись в стену невидящими глазами, и её губы чуть шевелились, словно она с кем-то разговаривала — с кем-то, кого никто, кроме неё, не видел. Иногда, ночью, когда весь приют спал, она вдруг просыпалась в холодном поту, садилась на кровати и начинала шептать одно и то же, монотонно, бесконечно:

— Она ближе. Она ищет лазейку. Она чувствует мой страх. Она придёт. Скоро.

— Кто, Дарика? — допытывался Ратик, садясь рядом с ней и тряся её за плечи. — Кто придёт? Кто ищет лазейку?

— Та, с холодными пальцами, — был её неизменный, бессвязный ответ. — Та, кто шепчет из камня. Та, кто живёт под горой. Она спит, но уже просыпается. Я слышу её дыхание по ночам.

Ратик не понимал — но верил. Он сам носил в себе призрака — слово «Довакин», которое приходило к нему в кошмарах, в криках птиц, в шёпоте воды. Они с Дарикой были похожи — оба носили в себе следы чего-то, что было больше их самих. Оба были сломаны, но не сломлены.

Иногда Ратик и Ториксон замечали, что у Дарики глаза меняют цвет. Они становятся карими и в этот момент она становится обычным девочкой, но все равно мало разговаривает, возможно стесняется. Друзья не давили на нее, Дарика была в приюте самая одинокая, кроме Ратика и Ториксона с ней никто не хотел дружить.

Ратик же среди светловолосых и светлоглазых нордов Скайрима, среди этой пшеничной и льняной массы, он стоял особняком, как галка, залетевшая в голубиную стаю. Волосы его, русые, с выгоревшими на рифтенском солнце прядями цвета сухой соломы, всегда казались чуть тронутыми пеплом, будто он родился в гари пожарища, а не в снегах Скайрима. Вечно спутанные, они падали на узкое, бледное лицо, которое редко видело сытную пищу.

Глаза его, карие, смотрели на мир с той настороженной, тягучей злобой, какая бывает у загнанного в угол зверя. В редких нордах такие глаза встречались — и те, кто их видел, отводили взгляд и плевали через плечо, говоря о следах первой крови атморцев, о порче или о древнем проклятье. Но Ратик был чистокровным нордом — это чуялось в его широких скулах, в тяжёлом подбородке, в том, как он держал голову, даже когда его секли мокрой верёвкой. Кожа его, вечно ссаженная, покрытая корками грязи и запёкшейся крови, под слоем уличной пыли была бледна, как месяц в утреннем небе.

Худой, почти до прозрачности, со стальными, как верёвки, жилами на тонких предплечьях, он был жилист и сух. Лопатки остро выступали под лопнувшей рубахой, рёбра можно было пересчитать, как доски в ветхом заборе. Но в этой немощной, голодной оболочке таился тот самый холодный, кованый стержень, что не давал ему согнуться. Руки его, вечно в цыпках и мозолях, были цепки, а пальцы — как когти, с обломанными, вечно грязными ногтями. Под левым глазом тянулся старый шрам — память о камне, пущенном кем-то из старших мальчишек, — и этот шрам белел тонкой нитью, когда Ратик хмурился. А хмурился он почти всегда.

Он не помнил ни матери, ни отца, ни дома. В памяти его не осталось ничего, кроме своего имени — Ратик, — которое он повторял про себя, как заклинание, и тяжелого, всепоглощающего чувства, что он должен выжить. Во всём его облике, в скособоченной посадке головы, в настороженном взгляде исподлюбя, в том, как он никогда не отводил глаз от старших и никогда не опускал подбородка, читалась упрямая, злая готовность. Он был как нож, выточенный из ржавого обломка — неказистый, кривой, но до смерти острый. И первое, что бросалось в глаза при встрече с ним — помимо этих дерзких, почти звериных глаз, — было то, что он смотрит на мир так, будто уже прикинул, с какой стороны лучше зайти, чтобы ударить наверняка.

Помимо их троицы, в приюте были и другие дети. Каждый со своей историей, со своей болью, со своей надеждой, которая таяла с каждым днём.

Хроар. Норд, лет тринадцати, рыжий, как лис, весь в веснушках, с разбитыми в кровь костяшками пальцев и вечным, нестихающим бунтом в глазах. Он был задирой, драчуном и главной головной болью Грелод. Его пороли чаще всех, ставили в угол, сажали на хлеб и воду, запирали в «тихом шкафу» — но ничто не могло сломить его дух. Он ненавидел всю систему — Грелод, стражников, ярла, Империю, Братьев Бури — всех, кто, по его мнению, был виноват в том, что он и другие дети оказались здесь. Именно он однажды вступился за маленького Самуила, когда того избивали двое старших рифтонских мальчишек за кусок сала. Хроар отлупил обоих так, что они неделю ходили с фингалами, а сам отсидел в шкафу три дня и вышел оттуда с гордо поднятой головой.

Руна Крепкий Щит. Долговязая, угловатая, неуклюжая нордка лет четырнадцати, с тёмными, густыми волосами, собранными в косу, и умными, внимательными, серыми глазами. До прихода Дарики она была единственной девочкой в общем зале остальные девочки жили в отдельном крыле, но Руну почему-то поселили с мальчишками — то ли за её «мужской» характер, то ли за какую-то провинность. Она терпела постоянные приставания и насмешки мальчишек, но научилась давать сдачи — и словом, и делом. Руна была сильной, работала наравне со старшими парнями, таскала тяжёлые ящики, разгружала баржи, копала канавы. Её уважали. Она и Дарика нашли общий язык в безмолвном понимании. Руна защищала тихую, отрешённую бретонку от тех, кто хотел её обидеть, а Дарика, в свою очередь, иногда каким-то необъяснимым, сверхчувственным чутьём предупреждала Руну об опасности — о том, что Грелод идёт, о том, что Грум прячется за углом, о том, что кто-то из детей замышляет недоброе.

Франсуа Бофорт. Хрупкий, изящный имперец лет одиннадцати, с большими, наивными, васильковыми глазами, в которых никогда не было тени злобы. Он жил в своём собственном, выдуманном мире — мире, из которого его не могли вытащить никакие побои и лишения. Он был уверен, что его богатые, знатные родители просто задержались по делам и вот-вот придут за ним на золочёной карете, запряжённой белыми лошадьми. Каждый вечер, перед сном, Франсуа доставал из-под подушки свою единственную драгоценность — старую, потускневшую медную пуговицу с выгравированным гербом, каким — никто не знал и потрёпанную, зачитанную до дыр книжку сказок на бретонском языке. Он вытирал пуговицу рукавом, гладил её, шептал ей что-то ласковое. Его надежда была такой же хрупкой, как он сам, и такой же необходимой для выживания, как хлеб и вода.

Самуил. Тихий, незаметный, серый мальчик, который старался проводить как можно меньше времени на виду. Он никогда не говорил о своих родителях, о том, как оказался в

приюте. Но по ночам, когда зал погружался в темноту, и слышалось лишь дыхание спящих, Самуил часто плакал — бесшумно, как и Ториксон, уткнувшись лицом в подушку, прижимая к груди истёртый до блеска, ржавый солдатский жетон Имперского легиона. На жетоне было выбито имя — «Легионер Т. Самуил», и дата, которая была выбита более полувека назад.

Их всех объединяла не кровь, не общее происхождение, не имущество. Их объединяла общая клетка. Каменный мешок, в котором не было места мечтам, надеждам и будущему. И общий враг — Грелод Добрая, стоявшая у них на пути к свободе.

Часть 3: Ритуалы выживания.

Будни в приюте были подчинены железному, бессмысленному, отупляющему распорядку. Каждый день походил на предыдущий, как две капли воды — серой, мутной, вонючей воды.

Ровно в пять утра, когда за окнами ещё царила предрассветная, серая мгла, раздавался резкий, пронзительный звон колокольчика в руках Грелод. Она появлялась в дверях зала, трясла колокольчиком с остервенением, и её голос, скрипучий и злой, разносился по комнате:

— Подъём! Живо, живо! Просыпайтесь, лентяи! Боги не дремлют, а вы в кроватях валяетесь!

У детей была ровно минута, чтобы вскочить с коек, натянуть на себя одежду и построиться в две шеренги у стены. Опоздавший — лишённый завтрака.

Потом — поверка. Грелод с ледяным, оценивающим взглядом медленно проходила вдоль строя, проверяя чистоту ушей, шеи, рук. Она заглядывала за уши, заставляла поднять руки, осматривала ногти. Малейшее пятнышко грязи, малейший беспорядок — и плеть свистела в воздухе, опускаясь на плечо или спину, оставляя багровый, жгучий след.

— Вы — не дети! — кричала она в такие моменты. — Вы — скот! Скот должен быть чистым, иначе он заболеет и сдохнет! Адохлый скот никому не нужен!

После поверки — умывание. Во дворе, у единственной ручной колонки, с которой текла ледяная, обжигающая руки вода. Зимой вода замерзала, и колонку приходилось обливать кипятком, чтобы растопить лёд. Дети умывались по трое, по четверо, торопясь и обливая друг друга. Те, кто мылся медленно, получали дополнительный удар плетью.

Завтрак. Жидкая, серая овсяная каша без соли, без сахара, без масла — на воде, с горьковатым привкусом перегоревшего котла. Кусок чёрствого, сырого изнутри хлеба, который приходилось размачивать в каше. Чашка мутного, тёплого чая из каких-то местных, болотных трав — кислого, вяжущего рот, но хотя бы горячего. Есть нужно было быстро, молча, не поднимая глаз от миски. Тот, кто не съедал свою порцию до конца, получал наказание.

Дальше — работа, и только работа. Распределяла Грелод, руководствуясь только ей известными принципами — иногда по возрасту, иногда по силе, иногда просто по настроению. Мальчиков отправляли на самые тяжёлые работы: разгрузка барж и рыбацких лодок на канале и в порту, перенос тяжёлых ящиков, тюков, брёвен, чистка сточных канав от грязи и отбросов. Как правило, на эти работы попадали Ратик и Хроар, а иногда и Руна — её физическая сила была почти как у парней. Работали они там по три дня, бывало по недели, потом на несколько дней возвращались в приют, чтобы отдохнуть и подлечить сбитые в кровь ладони. Ратик так и не мог решить, что хуже — быть в приюте, под постоянным надзирающим взглядом Грелод, или в порту, под крики надсмотрщиков и грузчиков, где можно было получить удар кулаком в лицо за медлительность.

Иногда — редко, как награду за примерное поведение — детей отправляли помогать кузнецу Балимунду: колоть уголь, качать мехи, чистить стойла у городских конюшен. Это была лёгкая, чистая работа, и от неё пахло не гнилью и отбросами, а железом, огнём и конским потом.

Девочек отправляли в прачечную — бесконечная, изнурительная стирка в ледяной воде, с тяжёлыми, скользкими кусками мыла, с выжиманием тяжёлого, мокрого белья. Или на кухню — чистить картошку и брюкву, мыть горы грязной посуды, подметать пол. Или в уборку самого приюта — мыть полы, выбивать пыль из ковров, протирать пыль с высоких, недосягаемых полок.

Обед был ненамного сытнее завтрака. Похлёбка из капусты и брюквы, иногда с обрезками жилистого, синюшного мяса — жил и хрящей, которые приходилось выплёвывать. Хлеб — такой же чёрствый, как утром. Те, кто работал в порту, обедали там же, в грязной, прокуренной столовой для грузчиков, и им иногда в этом больше везло. Ратик заметил, что в порту кормили лучше — работодатели понимали, что голодный работник — плохой работник. Да и рыбаки иногда жалели детей и подкармливали варёной рыбой, сухарями, яблоками.

Потом — снова работа, до самого ужина.

Ужин тоже не был изысканным. Чаще всего — та же похлёбка, что и в обед. В порту — варёная рыба с червями, которая испортилась, но деть её куда-то надо. Хлеб — иногда свежий, если повезёт.

После ужина — полчаса «свободного времени». Детей выпускали во двор под присмотром Грума, и они могли постоять, посидеть на лавочках, поговорить шёпотом, подышать воздухом, который хоть немного был свежее, чем в зале. Или, если на улице шёл дождь или снег, их оставляли в общем зале, где нельзя было делать ничего — только сидеть на своих койках, сложив руки на коленях, и смотреть в стену.

Отбой. В десять вечера Грелод или Грум гасили свет — единственную масляную лампу в зале. Вочарялась темнота, густая, осязаемая, полная шорохов, скрипов, вздохов, всхлипов. Лежать нужно было смирно, не шевелиться, не разговаривать. Любой шум — кашель, чих, скрип кровати — привлекал внимание, и виновного ждало наказание.

В этом аду их маленькое сопротивление было едва заметным, как искра в крошечной тьме. Но она теплилась, не угасая.

Они выработали свой тайный язык — систему условных стуков по стенам. Три коротких удара — опасность, Грелод идёт. Два удара — всё чисто, можно говорить. Длинная, прерывистая серия — экстренный сбор в уборной. Каждый ребёнок знал эти сигналы, и они помогали выжить.

Они делились скудной едой между собой. Ратик, работавший на разгрузке, иногда, рискуя быть пойманным, мог стащить сушёную рыбу, яблоко или сухарь с баржи. Он всегда приносил украденное в приют и делил на всех — поровну, по кусочку, по глотку. Хроар, помогая мяснику на рынке, мог выпросить обрезки сала, кости с остатками мяса — их потом варили в общем котле, подливая в похлёбку. Руна, работая на кухне у Констанции, подмешивала в их общую миску лишнюю картофелину или морковь, или краюху свежего хлеба.

По вечерам, когда Грелод уходила в «Пчелу и Жало» и это был единственный час, когда дети могли вздохнуть свободно, а Констанция оставалась за старшую, они собирались в дальнем, самом тёмном углу зала, где их не было видно от двери. Ториксон читал вслух из принесённой из храма Мары книги — тихо, шёпотом, но выразительно, с интонациями. Истории о древних героях — об Исграморе, о Талосе, о пятистах спутниках. О драконах, о великих битвах, о дальних, неведомых землях, где травы синие, а небо — зелёное. Франсуа дополнял их своими фантазиями о том, как его родители сражаются с драконами и великанами, чтобы пробиться к нему сквозь все преграды. Хроар рассказывал похабные анекдоты, которые слышал от грузчиков в порту, от которых краснел даже Ториксон, но которые заставляли смеяться даже угрюмого Самуила. Руна показывала приёмы рукопашного боя — захваты, броски, удары — которым её когда-то научил стражник-дядя, служивший в Вайтроне. Она говорила, что эти приёмы могут пригодиться, если когда-нибудь придётся защищаться.

Дарика сидела в стороне, обняв колени, и смотрела на них. В её глазах иногда, очень редко, появлялось подобие улыбки — тёплой, светлой, но такой же хрупкой, как крыло бабочки. Она не принимала участия в разговорах, не смеялась над шутками, не слушала истории. Но она была с ними. Она была частью их маленького, хрупкого мира, их островка нормальности. Их способа сказать аду: «Мы ещё живы. Вы не сломали нас. Не сломаете».

Часть 4: Разлука.

Первым ушёл Ториксон.

Это случилось солнечным, по-весеннему ярким утром, когда в приют с неожиданным, тихим визитом прибыла пожилая имперская пара. Лорд и леди Аквилон. Они приехали из Солитьюда — столицы Скайрима, города, о котором дети слышали только в легендах. Лорд Аквилон был высоким, худым, с седыми, аккуратно подстриженными волосами и строгим, аристократическим лицом. Леди Аквилон — невысокой, полной, с добрыми, заплаканными глазами. Они были одеты в дорогие, но скромные, без излишеств, одежды — тёмно-синий сюртук, серое платье. От них пахло лавандой, дорогим мылом и добротным, новым сукном.

Они искали племянника, пропавшего после нападения на караван год назад. Племянника по имени Ториксон.

Когда их привели в общий зал, и Ториксон — грязный, бледный, в лохмотьях — поднял на них свои большие, карие глаза, леди Аквилон ахнула, прижала руки к груди и, наверное, упала бы в обморок, если бы её не поддержал муж.

— Это он, — прошептал лорд Аквилон, и в его голосе дрожала с трудом сдерживаемая радость. — Слава богам, он жив.

Оказалось, Ториксон был не просто сыном купцов. Он был отпрыском боковой, но всё же знатной ветви древнего имперского рода. Его родители погибли в том нападении, но родня — дальняя, из Солитьюда — не оставляла поисков. Они нашли его благодаря описаниям, которые разослал Унмид Снегоход по всей Империи, и благодаря настойчивости, с которой генерал Туллий, посетивший Рифтен прошлым летом, лично заинтересовался судьбой выживших детей.

Церемония прощания была стремительной и сюрреалистичной. Грелод, внезапно ставшая сладкой, как мёд, и подобоострастной, как прислуга, суежилась вокруг благородных гостей, пытаясь выпросить «пожертвование на приют» — золотом, разумеется. Лорд Аквилон, с ледяным презрением, которое не могла скрыть даже его аристократическая выдержка, положил на стол увесистый кошель с золотыми монетами, даже не глядя на неё. Он смотрел только на Ториксона.

Ториксону выдали новую одежду — простую, но чистую, из мягкой шерсти, сшитую на заказ в одной из лавок Рифтена. Его отмыли, расчесали, подстригли. Он выглядел как другой человек — не затравленный зверёк из приюта, а молодой, знатный господин.

Ратик и Дарика стояли в стороне, у самой стены, вжавшись в неё, чтобы не привлекать внимания. Они не могли подойти. Их разделяла теперь не только толпа суесящихся взрослых, но и целая пропасть — пропасть судьбы, которая одним дарит золото и свободу, а другим — грязь и цепи.

Ториксон, когда его уже вели к выходу, обернулся. Его глаза были полны слёз — не горя, а благодарности и боли расставания. В них горела решимость. Он что-то крикнул, но слова утонули в шуме — в голосах взрослых, в скрипе отъезжающей богатой повозки, в хлопанье дверей. Ратик только разобрал по движению губ:

— Я вернусь за вами! Найду способ! Помогу!

И он уехал. В Солитьюд. В другую жизнь — с горячей водой, чистыми простынями, изысканной едой и будущим, полным возможностей.

Приют после его отъезда опустел. Не физически — детей было по-прежнему много. Но для Ратика мир потерял половину своих красок. Ториксон был мозгом их маленького сопротивления. Без его планов, без его тихих, умных советов, без его постоянного, ненавязчивого присутствия мир снова стал враждебным и бессмысленным. Осталась только работа, наказания, скудная еда и холод.

Дарика ушла второй. Ещё через три месяца.

За ней пришла женщина. Не родственница и не знакомая. Волшебница. Та самая, что когда-то искала девочку-бретонку в лесу у дороги. Серена.

Она появилась у ворот приюта без предупреждения, в том же походном, обгоревшем по краям кожаном доспехе, с которого ещё не сошла пыль долгих дорог. Её зелёные, как молодая хвоя, глаза сразу нашли в толпе детей Дарику, и в них мелькнуло такое глубокое облегчение, смешанное с печалью, что даже Грелод на мгновение растерялась.

Разговор с Грелод был коротким и тихим. Серена не просила — она заявила. Она показала какие-то пергаменты с печатями — тяжёлыми, сургучными, с гербом Коллегии Винтерхолда, старейшей школы магии в Скайримере. Она была не просто волшебницей. Она была Членом Совета Коллегии, Магистром по изучению Древних артефактов, Запрещённых культов и Нежити.

Дарика, по её словам, была не просто потерявшейся девочкой, не жертвой нападения на караван. Она была «сенситивом» — носителем редкого, опасного дара, который делал её уязвимой для определённых... сущностей. И который мог быть опасен для окружающих — для других детей, для служителей приюта, для всего Рифтена. Она нуждалась в особом обучении, в особой защите, которую могла предоставить только Коллегия.

Грелод, напуганная авторитетом Коллегии и холодной, сдерживаемой яростью, которая читалась в глазах Серены, даже не пикнула. Она только кивнула и отступила.

Дарика, когда к ней подошла Серена, не испугалась. Она медленно, с каким-то странным достоинством, подняла на неё свой прозрачный, пустой взгляд — и кивнула. Один раз. Едва заметно. Словно ждала этого всё время. Словно знала, что это должно было случиться.

— Ты знаешь, что шепчет «Она»? — спросила Дарика, и её голос, обычно безжизненный, вдруг зазвучал звонко и отчётливо, как стеклянный колокольчик.

— Знаю, детка, — тихо ответила Серена, опускаясь перед ней на колено, чтобы их глаза были на одном уровне. — И я научу тебя, как не слышать. Как поставить стену. Как использовать этот дар, а не страдать от него.

Серена увела Дарику, даже не дав ей попрощаться. Только на пороге, уже взявшись за ручку двери, Дарика обернулась. Она посмотрела на Ратика — долгим, пронзительным взглядом, в котором не было ничего. Ни боли, ни печали, ни надежды. Только предупреждение. И обещание.

Она что-то сказала — но так тихо, что услышал только Ратик, стоявший ближе всех к дверям. Он разобрал каждое слово, хотя они были произнесены шёпотом, похожим на шелест сухих листьев:

— Она теперь сосредоточится на тебе, Ратик. Ты главный. Ты ключ. Беги. Пока не поздно. Пока она не нашла лазейку через тебя.

И она исчезла за дверью, уведённая волшебницей с холодными глазами, которая была охотницей на невидимое и защитницей от того, что прячется в тени.

Часть 5: Одиночество и решение.

После их ухода приют для Ратика превратился в каменный мешок. Не тот, общий, где он спал и работал вместе с другими. А внутренний, в его душе. Хроар, Руна, Франсуа, Самуил — они были товарищами по несчастью, но не друзьями. Друзья уехали в другие миры — в свер-

кающий, далёкий Солитьюд и в таинственный, холодный Винтерхолд. Туда, куда ему, сироте без прошлого, без имени, без денег, не было хода.

Грелод, почувствовав его уязвимость, его одиночество, его ослабшую защиту, обрушилась на него с новой силой. Он стал её любимой мишенью. Каждый день — порка за любой, даже выдуманный проступок. Его отправляли на самую грязную, тяжёлую работу — чистить отхожие места, выгребные ямы, сточные канавы. Его пайку урезали — хлеба давали вдвое меньше, похлёбка была жиже воды.

Констанция пыталась заступиться, но Грелод теперь рычала и на неё.

— Заткнись, имперская шлюха! — шипела она, сверкая маленькими, злыми глазами. — Или я и тебя вышвырну на улицу! Проваливай, пока цела!

Ратик понял: он не переживёт здесь ещё одну зиму. Его или сломают окончательно — превратят в безвольное, тупое животное, которое будет только работать, есть и спать. Или убьют — не нарочно, а случайно, в ходе одного из «воспитательных процессов». Один удар плетью слишком сильно, один толчок с лестницы, одна ночь в «тихом шкафу» слишком долгая.

Спасение пришло неожиданно, и в виде наказания. Вернее, в виде нового вида работы — ещё более тяжёлой, но за стенами приюта.

— С завтрашнего дня, — прошипела ему однажды Грелод, выплюнув слова, как косточки, — ты будешь работать на Весёлой ферме. Дравин Лланит, данмер, арендует тебя на месяц. Будешь жить там, работать от рассвета до заката. Показал себя хорошо — может, ещё понадобится. Показал себя плохо — вернёшься сюда, и мы с тобой серьёзно поговорим, — она многозначительно похлопала плетью по своей сухой, костлявой ладони.

Ферма. За пределами города. Под присмотром угрюмого, молчаливого эльфа. Но без каменных стен, без Грелод, без вечного страха быть запертым в шкафу или избитым во сне.

Ратик не обманывался. Это была не милость. Это был способ избавиться от него на время, сэкономить на его хлебе, получить за него плату от фермера. Дравин Лланит, по слухам, был скрягой и скверным хозяином — он выжимал из работников все соки и платил копейки. Но это был шанс. Первый за год реальный, настоящий шанс вырваться из клетки.

В последний вечер в приюте он сидел на своей продавленной, скрипучей койке и смотрел на пустое место Ториксона. На него еще никого не подселили, новых детей в приюте не появилось.

Хроар подошёл первым. Он молча сунул Ратику в руку заточенный, ржавый гвоздь — тот самый, который он, видимо, стащил где-то в порту и долго точил о камень.

— На всякий случай, — хрипло сказал он, не глядя в глаза. — Если этот пепельный урод — Дравин — тебя тронет. Или если ты решишь... ну, сам знаешь.

Руна подошла следом. Она протянула ему небольшой, туго завязанный узелок из грязной тряпицы.

— Здесь краюха хлеба, кусок сыра и два яблока, — прошептала она. — Украла сегодня на кухне, пока Грелод спала. Констанции помогла. Держись, норд. Выбирайся. И не возвращайся сюда.

Даже маленький Франсуа, который обычно избегал Ратика после отъезда Ториксона, подошёл к нему и протянул свою драгоценность — медную, потускневшую пуговицу с гербом.

— Возьми, — прошептал он, и его глаза, большие, наивные, были полны слёз. — На счастье. Чтобы ты вернулся. Чтобы ты помог нам всем выбраться.

Ратик кивнул, чувствуя, как комок перехватывает горло. Глупая, детская, отчаянная надежда сдавила его грудь. Эти дети, эти изгои, эти сломанные, брошенные, забытые всеми существа — были его семьёй. Единственной семьёй, которую он знал. И он бросал их. Он уходил, оставлял их здесь, в этом аду, с Грелод и её плетью, с Грумом и его жёлтыми глазами.

Но он дал себе слово. Тихо, про себя, в глубине своей пустой, но всё ещё способной чувствовать души. Если он выберется — если он выживет на этой ферме и не сломается — он

вернётся. И он найдёт способ помочь им. Всем. Хроару, Руне, Франсуа, Самуилу. Даже тем, чьих имён он не знал.

Утром его забрал хозяин фермы. Дравин Лланит — угрюмый, молчаливый данмер в потёртой дорожной одежде. Он кивнул Грелод, бросил Ратику одно слово: «Идём», — и развернулся к выходу.

Ратик, с котомкой за плечами, в которой лежали гвоздь, краюха хлеба, кусок сыра, два яблока и медная пуговица, шагнул за ним через порог приюта. Он не оглядывался. Он смотрел вперёд — на открытые, наконец-то открытые ворота города, за которыми виднелась дорога, ведущая к озеру, к лесу, к свободе и неизвестности.

Это был не побег. Пока нет. Это был переход на новую каторгу. Но в его голове уже созрел план — простой, отчаянный, единственно возможный.

Дорога на Весёлую ферму стала для него дорогой не к работе, а к свободе. Или к гибели. Но, как он сам себе сказал, умирая под плетью Грелод или в ночном лесу от когтей тролля — какая разница? Важно то, что он сам выбрал свой путь.

Год в клетке закончился. Начиналось испытание волей.

Глава 4: Тюрьма без решёток.

Часть 1: Дорога на Весёлую ферму.

Дорога от городских ворот Рифтена до Весёлой фермы петляла вдоль северного берега озера Хонрик, постепенно удаляясь от зубчатых, мрачных стен города, которые с каждым шагом становились всё меньше, превращаясь из грозной крепости в серую, грязную полосу на горизонте. После часа ходьбы стены и вовсе скрылись за холмами, и мир распахнулся — но не в радостной, весенней красоте, а в суровой, предзимней нагоде.

Ратик шёл вслед за Дравином, стараясь держаться в нескольких шагах позади, чтобы не навлечь на себя гнев молчаливого данмера. Его котомка, в которой лежали скудные пожитки, тяжело оттягивала плечо. Голова, несмотря на прошедшие дни, всё ещё ныла после побоев палкой Грелод Доброй — особенно когда он резко поворачивался или наклонялся. Но ныла она глухо, фоновно, и к этой боли он уже привык, как к старому, въевшемуся запаху.

Флора по мере удаления от города менялась. Плодородные, холмистые луга, где ещё вчера паслись овцы и коровы, остались позади. Теперь по обеим сторонам дороги простирались бедные, каменистые поля, засеянные ячменём и рожью — низкорослым, жидким, с редкими, чахлыми колосьями. Земля здесь была тощей, песчанисто-глинистой, с вкраплениями мелкого гравия и гальки. Местами виднелись полосы вспаханной, но не засеянной земли — чёрные, маслянистые, пахнущие прелой соломой и конским навозом. Кое-где торчали чучела — грубо сколоченные из палок и одетые в лохмотья, чтобы отпугивать птиц. Вороны сидели на них, не боясь, и каркали, провожая путников.

Лес, который подступал к дороге с юга, был не таким мрачным, как вблизи Рифтена. Здесь росли в основном низкорослые, искривлённые берёзы и осины, с бледной, шелушащейся корой и мелкими, дрожащими листьями, которые уже начали желтеть. Подлесок был редким — кусты шиповника, можжевельника и какой-то низкой, стелющейся ивы, цеплявшейся за камни. Грибы — сыроежки и подберёзовики — росли прямо на обочине, но Ратик знал, что многие из них ядовиты, и не рисковал.

Фауна попадалась редко. Иногда из леса выбегала белка — рыжая, пушистая, с длинным хвостом — и, пострекотав, исчезала в ветвях. Раз или два Ратик видел вдаль, на краю поля, стайку куропаток — серых, с красными бровями — которые копошились в земле, выискивая червей и жуков. Из канавы у дороги выпрыгнула лягушка — маленькая, зелёная, с огромными,

выпученными глазами — и шлёпнулась в лужу. В небе парил ястреб, высматривая добычу, и его пронзительный, тонкий крик разрывал тишину.

Дравин Лланит шёл впереди, не оборачиваясь и не произнося ни слова. Он двигался лёгкой, экономной походкой охотника — ступая бесшумно, ставя ногу с пятки на носок, распределяя вес так, чтобы не создавать лишнего шума. Его тёмный, длинный плащ из грубой, толстой шерсти развевался на влажном, пронизывающем ветру с озера, открывая фигуру, обтянутую кожаным доспехом. На поясе, помимо тесака, висели ножны с длинным, изогнутым кинжалом и маленький, кожаный мешочек — возможно, с трупом или лечебными травами.

Ратик, несмотря на боль в голове и усталость, старался идти так же — выверенно, тихо, не топая. Он подсознательно копировал движения данмера, понимая, что от этого может зависеть его жизнь.

Они прошли мимо старого, полуразрушенного моста через ручей. Деревянные сваи подгнили, перила обрушились, поэтому пришлось переходить вброд по камням. Вода в ручье была ледяной, прозрачной, и на дне виднелись блестящие, чёрные раковины речных мидий. Ратик перепрыгивал с камня на камень, стараясь не замочить кожаные сапоги — единственную пару, которую ему выдали в приюте, и которые уже были стоптаны до дыр.

Через час после моста начались владения Дравина Лланита. Сначала появились межевые камни — грубые, неотёсанные валуны, на которых были выбиты руны и выцарапано имя хозяина. Потом — жердяные заборы, кривые, покосившиеся, кое-где поваленные, но всё ещё обозначающие границы пастбищ. Наконец, за очередным поворотом тропы, в небольшой, защищённой от ветров ложине, показалась ферма.

Часть 2: Весёлая ферма. Дом-крепость.

Ферма предстала перед ним неожиданно, как и большинство уединённых, спрятанных от посторонних глаз жилищ в Скайримере. Она словно выросла из самой земли, притаившись между двумя невысокими, поросшими кустарником холмами, и спускалась к самой воде — к небольшому, тихому заливу озера Хонрик.

Это было не то чтобы убогое место, но невероятно одинокое, замкнутое, подозрительное. Здесь не было соседей — ближайшая ферма находилась в часе ходьбы к югу, если не больше. Не было дороги — только едва заметная, заросшая травой колея, по которой едва могла проехать телега. Не было никаких признаков радости, гостеприимства или хотя бы обычного человеческого тепла.

Дом — одноэтажный, срубленный из толстых, тёмных, почти чёрных брёвен, пропитанных смолой для защиты от влаги. Крыша низкая, покатая, покрытая дёрном и мхом, из которого кое-где пробивалась пожухлая, сухая трава. Дом выглядел приземистым, вросшим в землю, будто прятался от непогоды, от посторонних глаз, от всего мира. Окна были маленькими, с плотными, деревянными ставнями, и даже сейчас, днём, они были закрыты — чтобы сохранить тепло, а может быть, чтобы не впускать ничей взгляд.

К дому примыкал невысокий, деревянный забор из заострённых, вертикально вкопанных жердей, окружавший огород и хозяйственный двор. За его пределами, чуть поодаль, виднелся сарай — из серого, неотёсанного камня, с низкой, просевшей крышей, покрытой дранкой. Хлев для скотины — тоже каменный, но чуть побольше, с широкими, зарешеченными воротами, из которых доносился запах сена, навоза и молока.

Но больше всего поражала не архитектура — она была типичной для скайримских ферм. Поражал контраст. С западной стороны от дома расстилались золотистые, волнистые поля пшеницы и ячменя — узкие, длинные полосы, сжатые со всех сторон кустарником. С восточной — огород, разделённый на аккуратные, ровные грядки, на которых росли капуста, тыквы, лук, репа, морковь. В дальнем углу огорода — несколько ульев, грубо сколоченных из досок, вокруг

которых жужжали пчёлы — единственная живность, которая создавала иллюзию мирной, сельской жизни.

У самого дома, на привязи, паслась корова с телёнком — крупная, пёстрая, с длинными, изогнутыми рогами. Корова лениво жевала жвачку, поглядывая на проходящих своими большими, влажными глазами. Телёнок — маленький, неуклюжий, с пушистой, рыжей шерстью — бодал пустую бочку.

С другой стороны дома, у ручья, копошились куры — деловито, сосредоточенно разгребая землю клювами, выискивая червей, жуков и упавшие зёрна. Петух — крупный, пёстрый, с ярко-красным гребнем — сидел на заборе и время от времени издавал пронзительное, раскатистое «кукареку», нарушая тишину.

Идиллия. Но это была ложная, обманчивая идиллия. Потому что одновременно со всем этим — с полями, огородом, ульями, коровой, курами — дом, ворота, ставни, заборы — всё было построено на манер маленькой крепости, готовой к обороне. Дом-крепость. Запертые ставни, тяжёлая, дубовая дверь, окованная железными полосами, высокий забор с заострёнными кольями. И тишина — не та, мирная, лесная тишина, которую Ратик знал по ночному Рифтену, а угрюмая, насторожённая тишина, нарушаемая лишь скрипом флюгера на крыше сарая да далёким криком чайки.

Дравин остановился у калитки, толкнул её — она со скрипом, жалобно отворилась. Потом повернулся к Ратику. И вот тогда Ратик впервые хорошо, подробно разглядел его.

Дравин Лланит был типичным данмером — высоким, поджарым, с кожей пепельно-серого оттенка, который на скулах, на руках, на шее отливал медью — тёплым, красноватым блеском, как у старой, потёртой монеты. Его лицо было изрезано глубокими, как трещины на сухой земле, морщинами — не возрастными, а прорезанными ветром, солнцем, холодом и постоянной, хмурой, вьёвшейся сосредоточенностью темного эльфа, который привык жить в постоянном напряжении.

Нос — тонкий, с горбинкой, хищный. Губы — плотно сжатые в узкую, неумолимую линию, без единого намёка на улыбку. Подбородок — волевой, чуть выступающий вперёд, покрытый редкой, жёсткой щетиной. Уши — заострённые, эльфийские, торчащие из-под спутанных, чёрных с обильной сединой волос, которые были коротко и небрежно острижены — будто он срезал их ножом, не глядя в зеркало.

Но главное — глаза. Они были красными. Не кроваво-красными, не яркими, а глубокими, тёмными, цвета тлеющих углей в ночном костре — тёмно-бордового, почти чёрного оттенка. В них не было ни капли тепла, ни капли участия. Только настороженная, оценивающая, хищная настороженность, граничащая с презрением ко всему живому, что не было им самим или его женой.

Он был одет в простецкую, но прочную одежду фермера: поношенную, застиранную льняную рубаху, когда-то белую, а теперь серую, с заплатами на локтях; безрукавку из потрёпанной, но ещё крепкой кожи, нашитую на груди стальными пластинами; простые, грубые штаны из толстой, домотканой шерсти; и тяжёлые, до колен, сапоги из сыромятной кожи, забрызганные грязью, навозом и засохшей кровью. По верх всего этого — плащ из толстой шерсти. На поясе висел не нож для хозяйственных работ, а настоящий охотничий тесак — широкий, с однолезвийным клинком, в потёртых, но добротных ножнах.

— Ты будешь спать там, — хриплым, лишённым всяких интонаций голосом сказал Дравин, указав на каменный сарай. — Подъём на рассвете. Завтрак получишь, когда закончишь утренние дела: накормишь свиней и кур, уберёшь навоз из хлева, принесёшь воды из ручья. Потом — работа в поле. Обед — когда я скажу. Ужин — после заката. В дом тебе хода нет. Никогда. Понял?

Ратик молча кивнул. Условия были суровыми, но после приюта они казались почти приемлемыми — даже почти свободными. Главное — его не будут бить плетью каждую ночь.

Главное — он будет на улице, под открытым небом, а не в каменном, душном мешке. Главное — здесь нет Грелод, нет её колокольчика, нет «тихого шкафа».

— Если попробуешь сбежать — вернёшься в приют, — продолжил Дравин, и его красные, угольные глаза сверкнули. — А твоя хозяйка, Грелод, я слышал, мастерица наказывать. Она тебя там встретит с распростёртыми объятиями и плетью наготове. Если попробуешь что-то украсть — я убью тебя на месте. Без предупреждения. — Он сделал паузу, давая словам впитаться. — Работай хорошо — будешь есть. Плохо — будешь голодать. Всё просто.

Он толкнул калитку и вошёл во двор. Из дома, услышав скрип, вышла женщина. Синда Лланит.

Если Дравин был похож на обожжённый штормом, изъеденный ветрами утёс, то Синда — на высохшую, согнутую бурей, но ещё не сломленную, живую травинку, которая цепляется за жизнь. Она тоже была данмеркой — с той же пепельно-серой кожей, но более светлого, усталого, почти прозрачного оттенка. Её лицо, когда-то, наверное, миловидное — с правильными, тонкими чертами, — теперь было иссечено сеткой мелких, как паутина, морщинок, особенно вокруг глаз и рта. Волосы, тёмно-серые, с широкими, серебряными прядями седины, были туго убраны в практичный, тугий пучок на затылке, открывая высокий, морщинистый лоб.

Её глаза... они были того же красного, тлеющего оттенка, что и у мужа, но они были иными. В них не было огня, не было вызова, не было презрения. В них была глубокая, бездонная, всепоглощающая усталость — усталость женщины, которая слишком много работала, слишком много теряла и слишком долго жила в постоянном страхе. С ней смешивалась тихая, хроническая, въевшаяся грусть, как запах старого, заброшенного дома. Она смотрела на Ратика не с презрением, как её муж, а с отстранённым, равнодушным любопытством — как на погодное явление: дождь, снег, ветер. Неприятное, но временное.

Она была одета в простое, выцветшее, застиранное до дыр платье из грубой, домотканой шерсти серого цвета, поверх которого был надет грубый, кожаный фартук, запачканный кровью, жиром и чем-то зелёным — вероятно, соком трав. Руки у неё были потрескавшимися, в глубоких царапинах, мозолях и загрубевшие от постоянной, непосильной работы.

— Это он? — спросила она мужа, не глядя на него — её взгляд был прикован к Ратику, оценивающий, но без злобы.

— Он, — буркнул Дравин. — Ратик.

Синда кивнула, её взгляд скользнул по тощей, угловатой фигуре мальчика, по его бледному, исхудавшему лицу, по повязке на голове, по его убогой, вонючей одежде из приюта.

— Сарай открыт, — сказала она. — В углу лежит солома — свежая, я вчера накладала. Если будет холодно — накройся мешком, он там же, в углу. Завтра с рассветом начнёшь работать. И не вздумай лезть в дом. Ни днём, ни ночью. Дверь всегда заперта.

Их бессердечие, их отстранённость, их холодность — не было злым, жестоким, как у Грелод. Оно было... практичным. Ратик был для них не человеком, не ребёнком, а инструментом, временной, дешёвой рабочей силой. Не более. И он, после года в приюте, был готов к такому отношению. Оно было честнее, чем лицемерная «доброта» Грелод, которая оборачивалась плетью.

Часть 3: Сарай — новый дом.

Первую ночь он провёл в сарае.

Это было каменное, сложенное из грубого, неотёсанного гранита помещение, квадратное, с низким, сводчатым потолком, подпираемым толстыми, деревянными балками, почерневшими от времени и копоти. Пол был земляной, утрамбованный, покрытый слоем сухой, прелой соломы, в которой копошились какие-то мелкие жучки и паучки. В воздухе пахло

пылью, старым, гниющим деревом, мышами и ещё чем-то кислым, затхлым — возможно, от старых, засохших пятен молока.

В углу сарая, справа от входа, действительно лежала куча соломы — жёлтой, сухой, но не свежей — она была спрессованной, сбившейся в комки. Рядом с соломой валялся старый, грязный, пропахший землёй и конским потом мешок из грубой, колючей мешковины. Им можно было укрыться.

В других углах сарая хранился инвентарь. Ржавые косы, лопаты с обломанными черенками, вилы с погнутыми зубьями, несколько бочек — пустых, с отбитыми обручами. На деревянной, вбитой в стену перекладине висела старая, облезлая упряжь — для лошади или мула. В углу, под самой крышей, было гнездо — наверное, ласточкино, но сейчас пустое, осыпавшееся.

Было холодно. Сыро. Неуютно. Из щелей между камнями тянуло ледяным, пронизывающим сквозняком. Где-то под бочками пищали мыши — тонко, настойчиво, раздражающе. На потолке, в переплетении балок, копошились пауки, сплетая свои липкие, серебряные сети.

Но здесь не было Грелод. Не было её колокольчика, её плети, её «тихого шкафа». Не было ночных обходов Грума с его жёлтыми, немигающими глазами. Не надо было бояться, что кто-то ударит во сне или украдет последний кусок хлеба.

Ратик разгрёб солому в углу, стараясь сделать подобие постели — утрамбованную, плотную, чтобы не проваливаться. Он снял с себя котомку, достал завернутый в тряпицу гвоздь — подарок Хроара — и медную пуговицу Франсуа. Он завернул их обратно и положил в самый угол, под солому, чтобы не потерять. Потом он снял свои грязные, вонючие лохмотья — ту одежду, в которой спал и работал в приюте, — и, оставшись в одной нательной рубаше, тоже грязной, но хоть сухой, завернулся в мешок.

Мешок был грубым, колючим, пах землёй, навозом и старым потом. Но он не пропускал ветер, и это было главное.

Он лёг на солому, поджав колени к груди, сжавшись в комок, чтобы сохранить тепло. Долго не мог заснуть — вслушивался в звуки ночи: завывание ветра в щелях, писк мышей, отдалённый, глухой лай собаки где-то вдали, плеск воды в озере. Но постепенно, убаюканный этими звуками — такими далёкими от криков и стонов приюта, — он провалился в сон.

Впервые за долгое время — без кошмаров, без образов горящего зала, без шепота из камня. Только тьма, тишина и редкое, тяжёлое дыхание.

Часть 4: Ритуалы фермы. Пробуждение к жизни.

Его разбудил не колокольчик и не крик Грелод, а утреннее пение петуха — пронзительное, раскатистое, многократное, от которого, казалось, сотрясались стены сарая. Ратик открыл глаза. Сквозь щели в дверях пробивался бледный, серый свет — рассвет. В сарае было холодно — так холодно, что пар изо рта валил густыми, белыми клубами.

Он быстро, как привык в приюте, вскочил, натянул на себя одежду, сунул гвоздь за пояс, на всякий случай и вышел во двор.

Рассветное небо над фермой было серым, низким, затянутым рваными, дождевыми тучами. Влажный, пронизывающий ветер дул с озера, принося запах пресной воды, тины и озерной рыбы. Над озером стелился густой, молочно-белый туман, в котором тонули дальние берега. Капли росы, холодные, как лёд, висели на каждой травинке, на каждом листе, на каждой жёрдочке забора.

Первым делом он, как велел Дравин, пошёл к хлеву. Хлев — каменное, сырое здание — стоял в дальнем конце двора, у самой ограды. Внутри было темно, влажно и пахло навозом, мочой, кислым молоком и сеном. Две огромные, грязно-розовые свиньи, с маленькими, злыми глазками и длинными, изогнутыми клыками, встретили его радостным, нетерпеливым хрюка-

нем. Они тыкались розовыми, влажными пяточками в подол его одежды, пытаясь выпросить еду.

Работа была грязной и тяжёлой. Он выгреб лопатой навоз из загона, сгрёб его в тачку и отвёз за хлев, в кучу, где компостировались отходы. Потом насыпал в корыто вонючую мешанку из отрубей, очистков овощей и прокисшего молока — свиньи ели с таким чавканьем и хрюканьем, что у него закладывало уши. Потом застелил пол в загоне свежей, сухой соломой — она скрипела и пружинила под ногами.

Потом — куры. Их было около двадцати — пёстрых, рыжих, белых и чёрных — они копошились в специальном, огороженном сеткой загоне, клевали зерно, разгребали землю. Ратик рассыпал им зерно — ячмень и овёс, смешанные с дроблёной ракушкой — налил свежей воды в поилку, и, пока куры клевали, обошёл гнёзда, собирая яйца. Тёплые, ещё влажные, они лежали в соломе, и он осторожно, стараясь не раздавить, укладывал их в плетёную корзину.

Потом — навоз. Самая противная работа. Он взял вилы и лопату, подошёл к куче, которая накопилась за хлевом за несколько дней, и принялся перекидывать навоз на новое место, чтобы он перепревал и не привлекал мух. Запах был ужасным — резким, аммиачным, от которого слезились глаза и першило в горле. Но он работал методично, не жалуясь.

Потом — вода. Десять походов к ручью, который протекал в сотне шагов от фермы, с двумя тяжёлыми, деревянными вёдрами, чтобы наполнить большую, дубовую бочку у дома. Ручей был мелким, каменистым, вода в нём была ледяной — такой, что немели пальцы. Он черпал вёдрами, стараясь не мутить воду, и нёс их, балансируя, к бочке, стараясь не расплескать.

К этому времени солнце уже взошло — неяркое, бледное, сквозь пелену облаков, но оно давало немного света и обещание тепла. Синда вышла на крыльцо, держа в руках деревянную миску, и жестом подозвала его к себе.

Завтрак. Миска дымящейся, густой овсяной каши, сваренной на молоке, с кусочком сливочного масла. Гуще и сытнее, чем в приюте — там каша была жидкой, как вода, и без масла. И большой, ещё тёплый, душистый ломоть свежего, ржаного хлеба, с хрустящей, поджаристой корочкой, посыпанной тмином.

Хлеба! Настоящего, свежего хлеба! Первый раз, когда он его попробовал — отломив кусок и отправив в рот, — ему показалось, что он ест само солнце, тёплое, живое, золотое. Он съедал всё до крошки, вылизывая миску языком, не обращая внимания на кислое, неодобрительное выражение лица Синды, наблюдавшей за ним с крыльца.

— Не торопись, — сказала она, но голос её был не злым, а усталым. — Еда никуда не убежит. Но если будешь так торопиться — подавишься. И кто тогда работать будет?

Ратик замедлился — но ненадолго. Его желудок, отвыкший от такой пищи, требовал ещё, и ещё, и ещё.

После завтрака — поле. Осень в Рифтене, на этой тощей, каменистой земле, была самым красивым и самым напряжённым временем года. Леса, окружавшие ферму со всех сторон, полыхали пожаром красных, золотых и багряных красок — клёны и осины, берёзы и дубы — каждый вид дерева вносил свою ноту в эту симфонию увядания. Воздух был прозрачным, холодным, пах прелой листвой, дымом от костров, на которых жгли ботву, и спелыми, дикими яблоками, которые росли за оградой.

На поле царил не покой, а тихая, сосредоточенная, почти лихорадочная деятельность. Нужно было успеть собрать урожай ячменя и пшеницы до первых заморозков, до осенних ливней, которые могли погубить всё за одну ночь. Дравин и Синда работали с рассвета до заката, и Ратик должен был работать с ними в ногу.

Ему выдали старую, затупленную косу, которой он не умел пользоваться — и порезал руку в первый же час. Пришлось заменить косу на серп — маленький, изогнутый, с зазубрен-

ным лезвием. Синда, не говоря лишних слов, показала, как нужно брать пучок пшеницы, подсекав стебли у самой земли — резко, без рывков — и аккуратно, ровно складывать снопы.

Работа была каторжной. Спина ныла через час, пальцы стирались в кровь о жёсткие, волокнистые стебли. Солнце, ещё жаркое днём, пекло шею, заставляя пот заливать глаза. Ноги вязли в рыхлой, ещё влажной от утренней росы земле. Но была в этой работе странная, монотонная, почти гипнотическая удовлетворённость.

Видение, как золотое море — пшеница, ячмень, овёс — отступает перед тобой, оставляя за спиной ровные, аккуратные ряды снопов. Звук серпа, срезающего стебли — шшш-шшш-шшш, мерный, ритмичный, как дыхание. Запах свежей соломы, поднимающегося от срезанных колоesses. Вес спелого, тяжёлого зерна в ладони, когда он поднимал сноп, чтобы переложить его.

Он работал молча, стиснув зубы, преодолевая боль в спине, в руках, в голове. Он работал так, словно от этого зависела его жизнь — и, в каком-то смысле, так оно и было. Если он покажет себя плохим работником, Дравин отправит его обратно в приют. А приют — смерть. Медленная, мучительная, верная.

Дравин редко работал рядом. Он исчезал на целые дни, беря с собой лук и пару собак — тощих, злобных, серых гончих с жёлтыми, горящими глазами. Он уходил на охоту — в лес, в горы, к озеру — и возвращался к вечеру с добычей: зайцами, утками, иногда — молодым оленем. Его присутствие на ферме ощущалось иначе: как постоянная, давящая тень недоверия. Он мог внезапно появиться на краю поля, встать, скрестив руки на груди, и долго, молча, пристально наблюдать, как Ратик работает. Его красные глаза, как два тлеющих угля, впивались в спину, в руки, в каждое движение.

Он не произносил ни слова. Ни похвалы, ни порицания. Просто наблюдение. Иногда — полчаса. Иногда — час. Затем он разворачивался и уходил так же бесшумно, как появился.

Его молчание было тяжелее любой брани Грелод. Грелод кричала, угрожала, била — и это было понятно, предсказуемо. Дравин молчал. И это молчание было как стена — непроницаемая, холодная, за которой скрывалось не пойми что. Злоба? Равнодушие? Или — что-то ещё, более страшное?

Часть 5: Синда.

Обед был скудным — чаще всего похлёбка из капусты и брюквы, приправленная небольшим кусочком сала, и кусок хлеба. Иногда — кусок сыра, если коровы давали много молока. Ели они втроём — Синда, Дравин — на улице, за деревянным, грубо сколоченным столом под навесом, Ратик на скамье у стены дома. Он сидел на скамье с краю, стараясь занимать как можно меньше места и не привлекать внимания. Дравин и Синда ели молча, не обмениваясь ни взглядами, ни словами. Их отношения, если о таковых вообще можно было говорить, держались на молчаливом, много лет назад заключённом договоре: работа, еда, сон. Ничего лишнего.

Ужин — тем, что осталось от хозяйского стола. Обычно — мясо — оленина, зайчатина, утка с тушёными овощами — картофель, морковь, лук, иногда тыква. Горячее, сытное, почти вкусное — после года в приюте, где ужином была та же жидкая, сероватая похлёбка, что и в обед, это казалось пиршеством.

Ужинал Ратик отдельно — на том же крыльце, где он завтракал, или в сарае, или на скамье у стены. Он никогда не ел за одним столом с хозяевами — это было неписаное, но железное правило. Дом, с его запертой на два засова дверью, с закрытыми ставнями, с вечно занавешенными окнами, оставался для него неприступной крепостью, чужим, враждебным миром, куда ему не было доступа.

Вечерами, закончив работу — когда уже темнело, и звёзды зажигались на небе, — он иногда оставался сидеть на крыльце или на брёвнышке у сарая и смотрел, как над озером поднимается огромная, кроваво-багровая луна, отражаясь в чёрной, маслянистой воде. Он думал

о Ториксоне. Где он теперь? В далёком, прекрасном Солитьюде, во дворце? Ест ли он с золотых, серебряных тарелок? Помнит ли он о них — о Дарике, о нём, о приюте?

Он думал о Дарике. Слушает ли она теперь шёпот земли, шёпот камней в холодных, каменных залах Коллегии Винтерхолда? Научилась ли она «не слышать»? Научилась ли она защищаться от того, что шепчет ей?

И он думал о тех, кто остался. О Хроаре, который, наверное, сейчас сидит в «тихом шкафу» за очередную драку. О Руне, которая таскает ящики в порту, сбивая в кровь свои тонкие, девичьи руки. О Франсуа, который, наверное, уже выплакал все слёзы и теперь сидит, уставившись в стену, сжимая в кулаке свою медную пуговицу, о нет не сжимает, он отдал эту пуговицу Ратику. О Самуиле, который плачет по ночам, прижимая к груди отцовский медальон.

Грусть и ярость попеременно сжимали ему горло. Грусть — по ушедшим, по потерянным, по тому, что никогда не вернётся. Ярость — на Грелод, на систему, на весь этот несправедливый, жестокий мир, который выбрасывает детей, как мусор.

Но здесь, на ферме, среди этой суровой, тяжёлой, но честной работы, он начал понимать — по-настоящему, глубоко, — что есть другая жизнь. Жизнь, где твоя усталость — от труда, а не от страха. Где боль в мышцах — знак сделанного, а не нанесённого. Где солнце, дождь, ветер — не враги, а просто явления. Где можно просто... жить. Без криков, без плети, без постоянного, давящего ужаса.

Синда была единственным подобием человеческого контакта на этой ферме. Она не была ласковой, не улыбалась, никогда не говорила лишнего слова. Но в её редких, скупых взаимодействиях с ним была капля чего-то, чего не было у Дравина. Чего-то вроде... остаточной, догорающей жалости. Или, может быть, воспоминания о том, что когда-то она была другой — до того, как жизнь сломала её.

Однажды, когда Ратик порезал руку о серп — глубоко, до кости, — она молча принесла тряпицу, тёплую воду и какую-то горькую, пахучую, тёмно-зелёную мазь. Она промыла рану, перевязала её чистой, льняной тряпкой — ловко, умело, как делали это в храме Мары, лекари — и сказала, не глядя ему в глаза:

— Будешь неосторожен — зараза попадёт. Тогда работать не сможешь. А работать некому, — добавила она, и в её голосе прозвучала такая глубокая, безнадежная усталость, что Ратику стало не по себе.

Другой раз, когда Ратик особенно ловко и быстро связал снопы — обогнав даже самого Дравина, — она, проходя мимо, бросила:

— Недурно. Хорошая у тебя сноровка. Откуда? В приюте такому не научат.

— Сам, — коротко ответил Ратик, не вдаваясь в подробности. — Я быстро учусь.

Синда ничего не сказала. Только кивнула — как будто про себя, — и пошла дальше.

Иногда, по вечерам, если Дравин ещё не вернулся с охоты, она выходила на крыльцо, садилась на нижнюю ступеньку, ставила рядом кувшин с водой или кружку с травяным чаем и просто смотрела в сторону озера. Долго, неподвижно, не мигая. Ратик, сидя у сарая, наблюдал за ней. Её поза — сжатые плечи, опущенная голова, руки, лежащие на коленях безжизненно, как плети, — говорила о такой глубокой, въевшейся в кости усталости, что ему становилось не по себе. Это была не усталость от одного дня, от одной недели, от одного урожая. Это было истощение от всей прожитой, беспросветной, лишённой радости жизни.

Как-то раз, когда разразился внезапный, осенний ливень — крупный, холодный, с градом и ветром, — и они вдвоём спешно собирали разложенные для просушки тыквы, чтобы укрыть их под навесом, Ратик, движимый внезапным, необъяснимым порывом, спросил:

— Почему вы здесь? Так далеко от города, от людей? Почему не уедете?

Синда на мгновение замерла с тыквой в руках — большой, оранжевой, уже подгнившей с одного бока. Её лицо, мокрое от дождя, исказилось — не от гнева, а от какой-то старой, незажившей боли.

— Люди, — сказала она, и в её голосе прозвучала горечь. — Где данмерам в Скайриме быть желанными гостями? В городах? Нас там терпят, пока мы платим налоги и не лезем в глаза. А здесь... здесь своя земля. Свой труд. И своя беда.

— Какая беда? — не унимался Ратик, чувствуя, что сейчас, в этот короткий, ливневый миг, стена между ними рухнула — хотя бы на несколько секунд.

Синда резко обернулась к нему, и в её красных, обычно тусклых глазах вспыхнуло что-то острое, болезненное, живое.

— Тебя прислали работать, а не вопросы задавать! — рявкнула она. — Таскай тыквы! Живо!

Ратик замолчал, опустил голову и принялся за работу. Но через несколько минут, когда ливень стих, превратившись в мелкую, морозящую изморось, и они уже почти закончили, Синда вдруг, сама не зная зачем — или, наоборот, зная, но не в силах сдержаться, — пробормотала, больше себе под нос, чем ему:

— Ограбили. Прошлой весной. Пришли ночью. Четверо. В масках. Забрали всё, что было ценного. И не только вещи. — Она умолкла, и её взгляд стал пустым, как у той девочки, Дарики, которую Ратик знал по приюту. Только пустота Синды была не врождённой, не от природы, а приобретённой — выжженной горем. — С тех пор Дравин... он не доверяет больше никому. Даже тени. Даже мне. Даже самому себе.

Ратик понял. Замкнутость, озлобленность, эта крепость-дом, запертые ставни, вечно запертая дверь — всё это было не от природы, не от злого нрава. Это была броня, которую они надели на себя после того, как мир вломился к ним в дом и отнял всё, что имело значение.

Он сам знал, что такое строить стены. Его стены были внутри. В его памяти, которая была пуста, как выжженное поле, и в то же время полна кошмаров, которые он не мог вспомнить.

Часть 6: Уроки выживания. Подготовка к побегу.

Прошло несколько недель. Ратик уже привык к ритму фермы, к её тяжёлым, изматывающим будням. Его тело, закалённое голодом и побоями в приюте, теперь крепло от физической работы. Мышцы на руках и спине обозначились, окрепли. Ладони, покрытые мозолями, сбитыми в кровь, зажили, превратившись в жёсткую, как наждак, кожу.

Он стал сильнее. Не только физически — но и внутренне. Он научился терпеть. Научился не жаловаться, не скулить, не просить пощады. Он научился смотреть в лицо опасности — не с страхом, а с холодной, спокойной оценкой.

Именно тогда, в один из вечеров, когда он колот дрова у поленницы — тяжёлая, монотонная работа, которую он любил за её простоту и ясность, — Дравин, вернувшись с охоты, остановился рядом, наблюдая.

Ратик работал, как заведённый: чёткий удар колуном, треск расщепляющегося полена, ощущение силы в собственных руках. Дрова летели в стороны, складываясь в аккуратный полукруг вокруг Ратика.

Дравин смотрел долго, молча, потом неожиданно произнёс своим скрипучим, лишённым интонаций голосом:

— Сильнее стал, мальчишка. Не то что хлюпик, которого я привёл.

Ратик, удивлённый тем, что с ним заговорили, только кивнул, не прерывая работы.

— Зима близко, — продолжил Дравин, глядя на тёмные, свинцовые тучи, собиравшиеся над лесом. — Работы меньше. Снега наметет по пояс. Тебя назад в город отведу. Нам лишний рот зимой не нужен, а Грелод за тебя платить придется.

Удар колуна пришёлся мимо — соскользнул по полену, едва не задев ногу. Ратик выпрямился, чувствуя, как ледяная, липкая волна ужаса прокатывается по спине, заставляя волосы на затылке встать дыбом.

— Назад? — переспросил он, и его голос дрогнул. — В приют?

— А куда же ещё? — пожал плечами Дравин, словно речь шла о возвращении взятого в аренду инструмента. — Мы и так продлили договор с твоей хозяйкой — до первых заморозков. Мы не будем платить за тебя зимой и не будем кормить дармоеда. Всё просто.

Он пошёл к дому, оставив Ратика стоять с колуном в оцепеневших руках. Назад. К Грелод. К побоям, голоду, «тихому шкафу». К жизни в ожидании, когда тебя либо сломают окончательно, либо убьют — случайно или нарочно.

После этого разговора — а точнее, после этого приговора — решение созрело в нём окончательно, кристаллизовалось из страха, тоски по друзьям, из благодарности к Констанции, Хроару, Руне и другим, и из яростного, недетского желания жить по-своему, самому выбирать свою судьбу.

Он сбежит. Не когда-нибудь, не следующей весной, не в следующем году. Сейчас. Этой осенью. До первых заморозков. До того, как Дравин отведёт его обратно, закуёт в кандалы и сдаст Грелод.

С этого дня каждый его час на ферме превратился в подготовку.

Он работал — но теперь работа стала не просто обязанностью, а тренировкой. Колка дров — укрепление плечевого пояса и мышц спины. Работа в поле — выносливость. Бег за водой к ручью — координация и скорость. Он заставлял себя делать больше, быстрее, качественнее, чем требовали.

Он стал внимательнее наблюдать за распорядком фермы, за привычками хозяев.

Ратик заметил, что Дравин каждое утро, ещё до рассвета, обходит границы своих владений — проверяет капканы, смотрит, нет ли чужих следов, охотится. Это занимает около часа — иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Синда в это время готовит завтрак на кухне, и её внимание полностью поглощено печью и кастрюлями. Это окно — идеальное окно для побега.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.